

к с (ЧУВ)

Е. ГЕОРГИЙ ЕФИМОВ

21086-к

**РОДНИК  
ПОД  
ВЕТЛАМИ**

Национальная библиотека ЧР

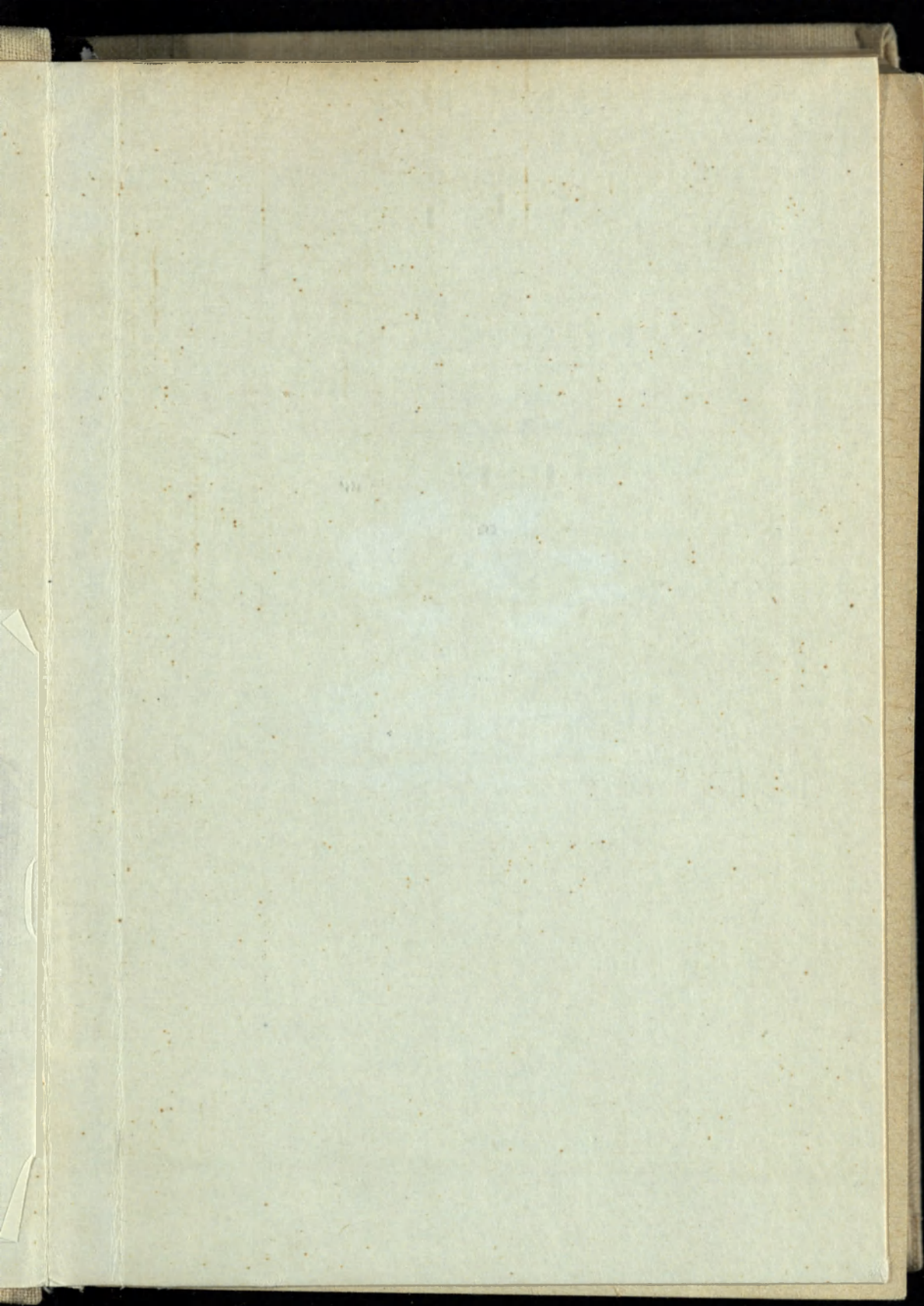


к-021086

**ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ  
обозначенного здесь срока**

20VI-	377			

Тип. им. Котлякова. 5 — 5 000 000. 1978 г. ЛГ-087-01-589.  
Цена 0 р. 58 к. за 1000 шт.



Наци



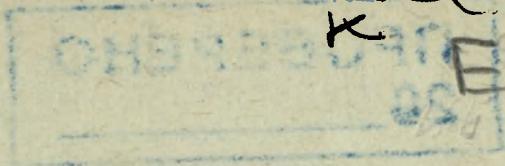
к-

20

Тип. и  
Цена С

кф

С(ЧУВ)



к

Е91

**Георгий Ефимов**

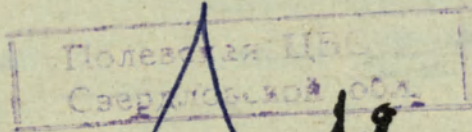
**Родник  
под ветлами**

**Повести и рассказы**

Перевод с чувашского  
**А. Курчаткина**

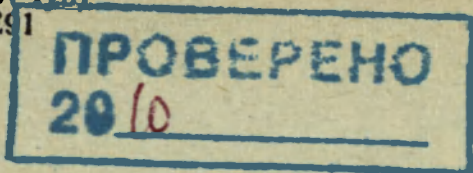
Е-91к.в

кф

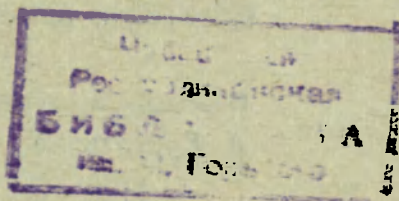


Москва - 1980

С (Чув)  
Е91



21086 кр

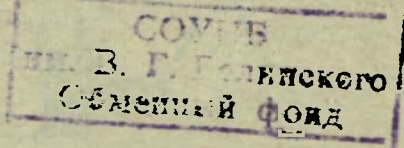


Е91 **Ефимов Г. А.**  
**Родник под ветлами: Повести и рассказы / Пер. с чуваш. А. Курчаткина — М.: Современник, 1980 — 288 с. (Новинки «Современника»).**

Новый сборник прозы известного чувашского поэта и прозаика Георгия Ефимова составлен из небольших повестей и рассказов. Это книга о людях современной чувашской деревни. У них самые разные судьбы, но их всех объединяет доброе отношение друг к другу, включенность в свой край, преданность делу. Проза Г. Ефимова лирична, подкупает знанием сельской жизни, поэтическим описанием неброской, но по-своему прекрасной природы Чувашии.

70303—042  
Е М106(03)—80 199—79

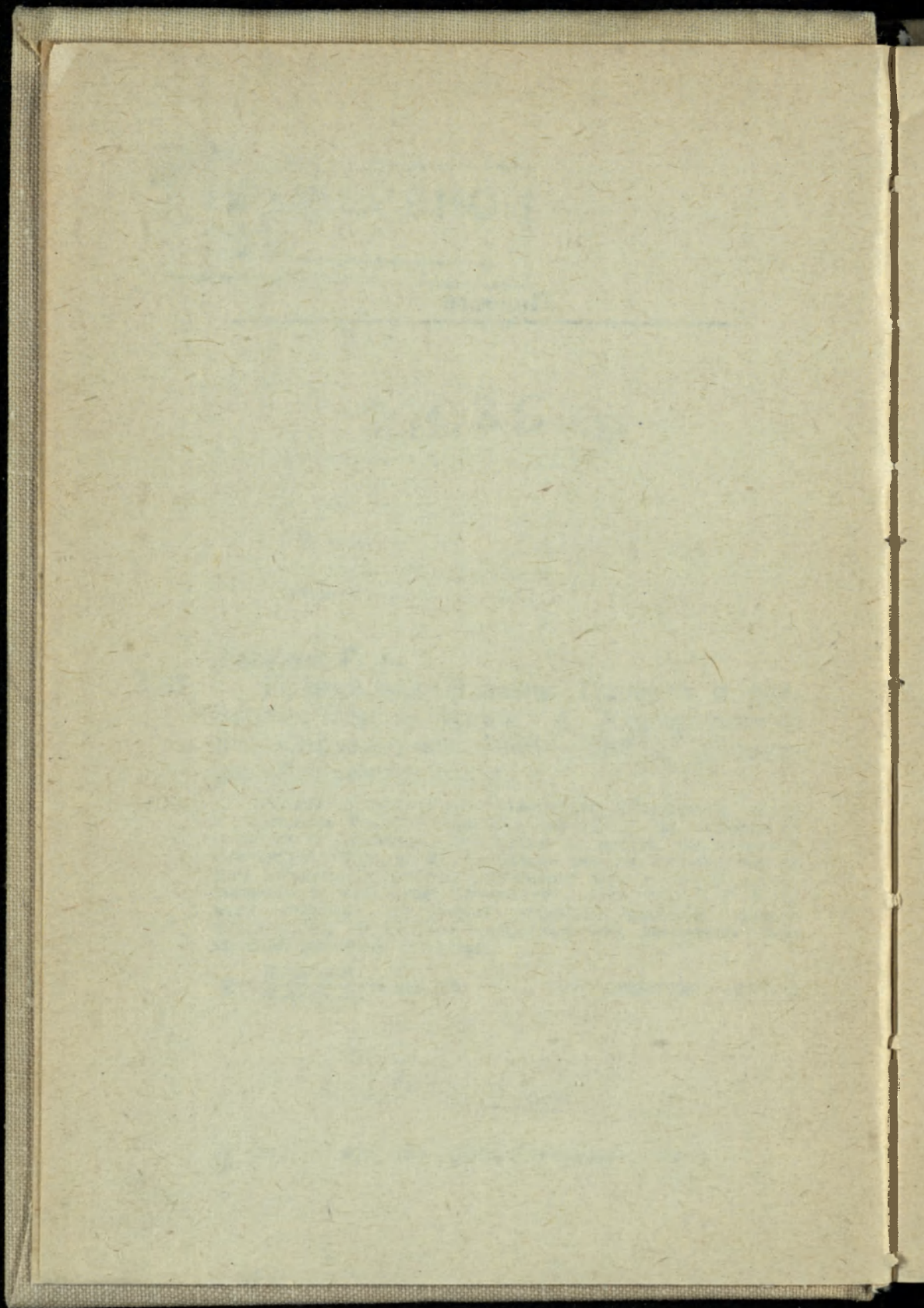
4702650000 С(Чув)



© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННОК», 1980 г.

Повести

---





## Отсвет того огня

### 1. Проводы

Я второй раз провожаю отца «в солдаты». Наверное, по нынешним, немирным временам — это не совсем правильно, говорить так, но что поделаешь — в деревне у нас так уж принято: Отец отправляется на фронт бить фашистов.

Всего только месяц прошел, как он приехал после госпиталя домой на поправку. И вот уже снова уезжает. Третьего дня он прошел комиссию в военкомате и его признали годным.

Мама уже собрала отцу солдатский его вещмешок — положила сухарей, немного вяленого мяса, сунула шерстяные носки, теплые варежки. Накрыт уже и стол: блюдо ватрушек, блюдо блинов, яичница. Не очень-то многолюдные у нас проводы. Несколько женщин да два мужика: дед Паймук и я.

Себя я тоже успел уже записать в мужики. Нынче утром, когда вышел на улицу умываться, отец, взяв меня за плечо, сказал, заглядывая мне в глаза:

— Алюш, ты теперь остаешься в доме за старшего. Помни это. Помогай матери, слушайся ее во всем. Будь настоящей опорой дому.

Эти его слова наполнили меня чувством пьянящей гордости. И в то же время — растерянности и страха. Ну что я смогу, оставшись за старшего? Все то же, что делал и раньше: дров

нарубить, воды натаскать, грядки с огурцами-капустой полить... Это смогу. Но дом — это ведь дом. Быть в нем старшим, взвалить его на себя — это ведь не только, скажем, дров нарубить, но и достать их, привезти... Тут во всем этом много такого, о чем я до сих пор и не ведал, до чего не касался. Прежде я жил за спиной у отца с матерью...

— А все ж выпало Урине счастье, — сказала одна из соседок, пришедших на проводы. — Хоть месяцок, да пожила под крылышком мужа.

— Какое уж там счастье, — со вздохом отозвалась другая. — Что такое месяц? Душу только, поди, разбередил.

— Э, что из того, что разбередил. Разбередил, да месяц целый все-таки рядышком прожили. Мой уж три месяца вот не пишет. Не то голову сложил... не то без вести пропал... — Женщина наклонила голову и углом платка вытерла навернувшиеся слезы.

— Эй, красавицы! Хватит вам там в углу шептаться! — крикнул от стола молодецким голосом дед Паймук. А глаза у самого были грустные. — Идите-ка сюда, да хватите по ковшику пива!

— Ох, этот дед Паймук! — отозвалась вторая соседка. — И сам печалиться не умеет и другим, видишь ты, не дает.

— Когда в курной избе жили, тогда печалились, — шуткой же ответил ей дед Паймук. — А кто все печалится, того, говорят, и заяц бьет. Иди-ка, давай до дна!

В горле у меня — не то от грустного женского разговора, не то от натужного, неестественного веселья деда Паймука — встал какой-то комок. Он все набухал, в груди сделалось тесно,

к глазам прихлынули слезы. Я выбежал во двор.

Во дворе, опустив голову, будто дремля, стояла пригнанная из табуна лошадь. Она повезет отца на станцию.

Казалось, лошадь чувствовала разлитую в воздухе общую печаль — в позе ее была унылость, вялая покорность, и лишь изредка она била себя хвостом по бокам.

Как тяжело. Я зашел в сараюшку рядом с хлевом, сел там на чурбан и заплакал навзрыд.

Наконец все слезы были выплаканы. Я поднялся с чурбана, но у меня не было никаких сил идти обратно в дом. Казалось, вместе со слезами я выплакал что-то еще, в груди у меня была гулкая тяжелая опустошенность. Ни яркий голубой свет солнечного дня, ни яркая свежая зелень вокруг меня не радовали меня.

Что же делать? Мне вспомнилось, как мой схороненный полгода назад дед говорил, посаывая сигарку: «Когда душа не на месте, табак лучше всякой ласки успокаивает». А в чулане возле сеней стоит целый мешок нарубленного им и так и не использованного табака...

Я зашел в чулан, свернул из газетного обрывка сигарку, насыпал в нее табаку и затянулся. Горло мне перехватило. Крепкий. Я закашлялся. Дым разъедал глаза.

Вдруг кто-то крепко-крепко схватил меня за ухо — я чуть не закричал от боли. Открыл слезящиеся глаза, изогнулся, чтобы увидеть, кто это, — это был отец.

Мгновение мы оба молчали. Потом отец отпустил мое ухо, взял у меня из рук сигарку и загасил ее о дощатую стену чулана.

— Вот что, — сказал он затем, глядя на меня

сурово и растерянно одновременно.— Если куришь, то скрытно лучше уж не кури. Скрытно если — так и до пожара недалеко. А нам только пожара не доставало. И без того пожар по всей стране полыхает. Хватит того...— Он помолчал.— Матери, что ты уже куришь, пока не скажу. Ей и так тяжело. Скрытно не кури, но и при ней не надо. Понял?

Душа моя отозвалась на его слова судорогой вины и сыновней любви. Я проговорил, опустив глаза в пол:

— Больше, отец, в рот не возьму. Правда. Не огорчу мать. Для братишек и сестреночек постараюсь во всем примером быть. Ведь я теперь старший в доме...

Все это выговорилось у меня единым махом, на одном дыхании, слова цеплялись и цеплялись одно за другое...

Отец улыбнулся и своей жесткой твердой ладонью погладил меня по голове.

— Идем в избу. Там ведь люди собрались. Он обнял меня за плечо, и так, обнявшись, мы вместе вошли в дом.

Дед Паймук приветствовал нас из-за стола вскинутыми вверх руками:

— Два богатыря, отец и сын, вышли порознь, вернулись вместе. Один богатырь будет на фронте бить фашистов, другой в тылу своим трудом будет рыть им яму. Проходите, богатыри!

Он все-таки сумел своими шутками расшевелить женщин — на лицах их были улыбки, глаза светились весельем.

Все сели за стол. И мы с отцом тоже. Только успели сесть, дверь растворилась, и в избу вошла тетка Таись с дочерью Анюк. Тет-

ка Таись живет на соседней улице, и мы ее не ждали. Ей перевалило уже за сорок, но выглядит она совсем молодо, и на лбу у нее всего только две тонюсенькие морщинки. Никто ей не дает ее лет. Про тетку Таись говорят в деревне, что жизнь ее не ломала.

А с Анюк мы учимся в одном классе. И дружим. Я и с мальчишками даже не делюсь, а с нею не могу не поделиться.словно бы какая-то волшебная сила есть в этой девчонке. И не заметишь, как откроешь ей душу.

— Позвольте и нам войти,— сказала тетка Таись и, обойдя всех, со всеми поздоровалась за руку. Потом подошла к матери и, вынув из-под фартука, вручила ей бутылку водки.— Про запас держала, на всякий случай, да уж... Примите, не обидьте.— Затем она подошла к отцу.— Ехвинь, может, встретишь там моего... Ну так, если встретишь... привет передавай... ничего, скажи, живут...

Как-то она лениво выговорила эти слова, каким-то деревянным голосом, словно бы через силу.

— Что ты говоришь, мама,— застенчиво произнесла Анюк,— фронт, он ведь какой большой... как дядя Ехвинь встретит там папу.

— Э, дочка, все бывает на свете,— вмешался дед Паймук.— Вон однажды, в кои веки, приехал я в Казань. Не помню уж зачем... Купить что-то нужно было. Иду по улице, глядь — а навстречу Назартин, татарин, ну тот, что еще до колхозов у нас в пастухах ходил. Лоб в лоб столкнулись. «Вот те на!» — говорим. Пригласил он меня в ресторан, угостил мясом жеребенка, чаем напоил. Водкой-то татары не очень балуются... Вот как! А в другой раз догово-

ришься с человеком встретиться — и разми-  
нешься...

— Давайте опробуем гостинец Таись, — сказала мама. — Злая эта жидкость, да злость нашей души сейчас сильнее. Пусть злость на злость — чтобы мы крепче были, чтобы так врага били, что он и через сто лет, вспомнив об этом, икал бы.

— Ай, Урине, как хорошо сказала! — хлопнул себя по бедру дед Паймук. — Огонь от таких слов в груди зажигается.

Водка была выпита, и снова все потянулись к ватрушкам и блинам.

— Ешьте, ешьте, — сказала мама. — Все съедайте, чтобы ничего не оставалось. У отца путь дальний, а у нас дни долгие. — И вытерла глаза подолом фартука.

Удивляюсь я, глядя на женщин. Вот в глазах у них слезы, но стоит только коснуться глаз углу платка или фартука — и слез уже нет, и на губах появляется улыбка. То ли они просят прощения за свои слезы этой улыбкой, то ли гасят в душе, чтобы не дать разгореться, съедающий их огонь? А может, в углах платка и подоле фартука заключена некая волшебная сила, о которой мы, мужчины, просто не имеем понятия?

— Пора идти, — сказал отец, посмотрев на ходики на стене, и встал. Зачерпнул пива из липовой глубокой чашки и налил себе полный стакан. — Давайте на посошок.

Все наполнили себе стаканы, и отец, все дальше закидывая голову назад, выпил свой стакан до дна.

— Всех прошу так выпить, — каким-то осевшим внезапно голосом произнес он.

И все выпили до дна, и женщины, и мать, и дед Паймук, и начали выходить из-за стола.

Отец с матерью остановились у печки и стали о чем-то шепотом говорить. Я подошел поближе.

— Что ж, мать,— говорил отец осекающим-ся голосом,— дай вам бог легкого житья без меня... За детьми получше следи, смотри, чтобы учились, не отлынивали от занятий...— Он положил ей руки на плечи и прижал к себе.— Побыло у нас в доме четыре плеча, снова два твоих остаются... Достанется тебе. Всякому дому на четырех камнях лежать положено. Ну да уж что тут поделаешь... ничего не поделаешь, магь, надо терпеть. Не мы одни...— Голос отца совсем задрожал, и он, видимо и сам не заметил, как это случилось, вытер глаза рукавом гимнастерки. Вытер, увидел меня — и сказал: — Иди, Алюш, запрягай коня.

— Да, сынок, пойдем запрягать,— заторопился дед Паймук.

Следом за нами вышла Анюк.

— Держись, Алексей,— проговорила она, подходя ко мне.— Крепись.

— Так я что... ничего особенного,— не найдя никаких других слов, пробормотал я.

Мы с дедом Паймуком запрягли лошадь, положили на телегу свежей, сладко пахнувшей травы и сверху застелили ее домотканым покрывалом.

Тетка Таись вынесла солдатский вещмешок отца. Я взял его и положил сверху покрывала.

— Провожать ты поедешь? — спросила меня тетка Таись.

Я не успел ответить, за меня ответил, вопросом на вопрос, дед Паймук:

— А кто ж еще?

— А тебя не спрашивают, что ты суешься! — неожиданно резко сказала тетка Таись и пошла обратно в избу.

— Мама!.. — с упреком посмотрела ей вслед Анюк. Но тетка Таись не обернулась.

— Надо, наверно, звать? — спросил я деда Паймука.

— Зови, — сказал он, проверяя на прочность гужи.

Отец, видимо, уже со всеми попрощался — все снова сидели, как положено перед дорогой.

Я зашел — и отец встал на ноги.

— Ну, поехали, — сказал он.

Мать повисла у него на шее и зарыдала.

— Не надо, не плачь, не надо... — похлопывая ее по руке, проговорил отец. — Не умирать еду, а победу добывать. Я уже знаю, что такое война, побывал уже под фашистским огнем... Вы здесь постарайтесь, чтобы все у вас хорошо было...

Мать разомкнула руки и — в который уж раз! — вытерла слезы подолом фартука.

— Ты, Урине, спокойно оставайся дома с детьми, мы его проводим, — в несколько голосов сказали матери женщины.

Так положено: когда муж уходит «в солдаты», жена не провожает его дальше порога. Если проводить дальше, обратная дорога его будет слишком долгой. Не знаю, это везде такой обычай или только в нашей деревне...

До околицы ехали шагом. Я правил, отец и все, кто пошел проводить его, шли за телегой.

Вот и околица. Деревня осталась позади.

Дед Паймук, перехватив у меня вожжи, остановил лошадь. Поставил на траву ведро с



пивом, которое нес, налил стакан и подал отцу.

— Пей до дна — и бросай вверх.

Отец выпил до дна и, размахнувшись, швырнул стакан в небо. Стакан взлетел, сверкая на солнце гранями, и упал в рожь у дороги.

— Сбегай, Алюш, принеси,— велел мне дед Паймук.

Мокрый от пива, стакан был испачкан в земле, но цел. Я со всех ног бросился обратно к телеге и отдал стакан деду Паймуку.

Дед Паймук внимательно осмотрел его и радостно засмеялся:

— Ни трещинки, ни щербинки, Ехвинь! Гладкий, будто только что отпили. Живым-здоровым возвратишься, значит. Иди, обнимемся. До свидания!.. Бей этих людоедов, топчи их. И за себя, и за меня. Эх, почему я не молодой!.. — воскликнул он.— Я бы показал им! Колчака распотрошить смог, и фашистам задал бы...— Он снова налил в стакан пива и тоже выпил до дна.— Ну, Ехвинь, чтоб, когда возвращаться будешь, такой же солнечный день стоял, как нынче. Чтоб травой твоя обратная дорога не заросла!..

Они с отцом обнялись.

— Спасибо, Паймук, за добрые твои слова,— сказал отец.— Хорошо, если так оно все и будет, как ты нагадал...

Он попрощался с женщинами, с каждой за руку, сел на телегу, взял у меня из рук вожжи, кнут и изо всех сил огрел лошадь. Лошадь рванула и понеслась.

«Смотри, сынок, пока земли нашей деревни не проехал, не оглядывайся»,— говорил отцу дед Паймук, когда подходили к околице. Это тоже такое поверье: если кто, не проехав свою

родную землю до границы, оглянется — назад ему уже не вернуться. Поэтому, видно, отец и гонит лошадь: скорее проехать свои земли — и оглянуться.

Вот мы уже выехали к полю Выраскас\*. Подъем. Наши земли здесь кончаются, начинаются земли соседей. И деревня наша отсюда — вся как на ладони.

— Что ж... оглянемся. Подержи-ка вожжи,— попросил отец.

Он развернулся, сел спиной к лошади, свесив ноги, и я, перехватив вожжи, сидя на телеге боком, тоже стал смотреть вниз на деревню.

Вон Большая улица. А вон ветла Кестеня. Она — самое старое, самое высокое дерево в нашей деревне. Ее мощный ствол, ее густая раскидистая крона легко различимы среди всех других деревьев. В деревне говорят: «Под ее тенью можно накрыть стол сразу на пятьдесят человек». Никто, правда, никогда это не проверял.

Лошадь, бегущая теперь неторопливой трусцой, увозила нас от деревни все дальше и дальше. Вот уже мы перевалили холм и начали спускаться. Деревня, дом за домом, улица за улицей, стала исчезать за срезом земли. Вот уже видна только вершина ветлы Кестеня... Вот и она исчезла...

— Ну,— повернулся на телеге отец,— все. Теперь не скоро я увижу родные места, сынок.— И погрозил лошади кнутом: — Эй, чего плетешься на спуске! Шагом на подъеме пойдешь.

Лошадь, услышав его голос, и в самом деле перешла на рысь.

---

\* В ы р а с к а с — буквально: Русское село.

В Канаш мы приехали около пяти часов вечера.

Площадь перед военкоматом была вся забита подводами. Только на Цивильской ярмарке случилось мне видеть такое скопление их. Но на ярмарке царило веселье, у людей же, собравшихся на площади перед военкоматом, были печальные, грустные лица. Но не сплошь, конечно; вон у одного тарантаса пустились в пляс под гармошку, и, помахивая платочком, девушка поет частушку:

Не забуду тебя, милый,  
Буду ждать тебя домой.  
Бей ты гадов что есть силы,  
Стану я твоей женой.

— Молодость, она такая... — сказал отец. — Ты посиди-ка тут. А я в военкомат схожу, повестку отмечу.

Звонкий, залиvistый голос гармони настраивает на радостный, веселый лад. Закрой глаза — и покажется, что ты на мирном вечернем деревенском гулянии за околицей. Но — перекрывая голос гармони — заходится в рыдании женщина:

— Ой, милый ты мой, мужене-ек!.. Да как же я без тебя буду-то-о...

И этот женский плач напоминает о том, для чего, для какого дела собрались здесь люди.

А девушка у тарантаса все поет:

Или в армию мне с милым  
Вместе записаться?  
Ему — орден, мне — медаль!  
И некого бояться!..

— А ну-ка, Павел, ну-ка ответь! — закричал, видимо, сыну стоящий у тарантаса длиннобородый сухой старик. — Я этих ярмар-

цев жарил почем зря, и ты будешь, да еще почище. Наш род и в огне не горит, и в воде не тонет. Ну-ка давай, Павел, ну-ка покажи! — И начал хлопать в ладоши.

Павел, высокий, крепкий — таким, наверно, был сам старик лет сорок назад — выступил вперед и стал петь свою частушку. Девушка, взмахнув платком, пошла кружиться вокруг него. Развевался, наполнялся ветром подол ее платья.

На лицах людей вокруг появились слабые, с печатью грусти улыбки.

О, каким она стала местом — эта площадь перед военкоматом. Сколько слез, сколько расставаний она видела. Скоро ли увидит встречи, услышит смех, узнает веселье? Не этот, нынешний смех, не это, тяжелое веселье проводов, а смех и веселье победителей!

На крыльце военкомата появился отец. Он сошел с него и неторопливым шагом направился ко мне.

— Вот такие дела, Алексей... — раздумчиво произнес он. — Нынешнюю ночь, наверно, со мной проведешь. На ночь глядя тебе не след в путь пускаться... а нам эшелон в пять утра подадут. Да, давай оставайся, проводишь уж меня до конца.

Мы распрягли лошадь, привязали ее к телеге и бросили ей охапку травы. Сразу с дороги поить лошадь нельзя. Разгоряченная, она от воды обезножит. Надо дожидаться, когда остынет.

К закату шум на площади стал понемногу стихать. Меньше стало подвод. Видимо, многие провожавшие разъехались. Только возле тараптаса все так же шумно илюдно.

Старик с длинной бородой, то ли обратив внимание, что мы все вдвоем да вдвоем, и решив развлечь нас, то ли просто после выпитого пива нуждаясь все в новых и новых разговорах, степенно шагая, подошел к нашей телеге.

— Можно вас побеспокоить, почтеннейшие? — склонил он голову. — Что вы тут сидите, приуныли? Идемте к нам! Свои ведь все люди! — И подал отцу руку. — Здравствуйте! Сынок, видать? — кивнул он в мою сторону. — Какой сокол! Скоро, вижу, следом за вами полетит, рука об руку, плечом к плечу будет уничтожать фашиста!

— Лучше бы до этого не дошло, — сухо отозвался отец. — Самим бы уничтожить.

— Пусть будет так, как ты сказал, — вскинул руки старик. — Пусть кончится война скорее, чем скорее, тем лучше, правильно ты сказал. А сейчас — идемте к нам. По стакану пивка выпьем. До уборочной хотел сыну свадьбу сыграть. Не сыграл. Вон невеста-то, — показал старик на ту самую девушку, что давеча пела частушки и плясала. — Ждать, говорит, буду... Идемте. Не простое пиво, а для свадьбы приготовленное. Отведайте!

— Что ж, раз говорит — буду ждать, значит, будет, — сказал отец старику. И повернулся ко мне. — Идем, сынок, уважим человека.

— Вот это по-человечески! — ударил себя старик по бедру.

Мы подошли к тарантасу. Отцу налили «свадебного». Он пил, а я смотрел на невесту, будущую невестку. Волосы у нее были каштановые, щеки — как мак. Нос тонкий и прямой. Только ноздри немного вывернуты вперед. Но это ее не портило. А когда она улыбалась,

Чувашская  
Республика  
БИБЛИОТЕКА  
им. М. Горького

Общественного фонда  
21086 кр

на щеках у нее появлялись ямочки. И такой синевы, такой ясности и глубины были глаза, что казалось, будто кто-то обрезал от июльского высокого неба кусочек и подарил ей.

Долго мы с отцом просидели у них. Совсем уже стемнело, высыпали звезды. Наконец поднялись. «Поздно уже, а вставать рано», — сказал отец. Мы попрощались со всеми за руку и пошли к своей телеге.

Когда мы уже укладывались, небо на западе неожиданно начало краснеть. Так бывает при большом огне. Где-то случился пожар или что-то жгут?

Я показал отцу в ту сторону, он посмотрел, потом взглянул на меня и сказал:

— У тебя в глазах, Алюш, отсвет того огня. Это вот всегда так. Если полыхает сильный огонь, где бы человек ни был, близко ли от него, далеко ли, взрослый ли это человек, или дитя, главное — если человек видит этот огонь, в глазах у него всегда его отсвет. И пока пламя не погасят, не исчезнет и отсвет в глазах.

Я молчал — я слушал. Я пытался понять.

— Вот то пламя мы и отправляемся гасить. Чтобы отсвет его не горел ни в чьих глазах.

Мы легли, я обнял отца за шею и так и уснул. Когда я смогу его обнять так еще?

## **2. Старший в доме**

Отец перед отъездом привез из лесу бревна на дрова. Мы с братишкой распилили их и сегодня вот колем. Точнее, колю я, а братишка укладывает наколотые дрова в поленницу. Когда я ставлю чурку на чурбан и замахиваюсь,

он кричит: — Дай ему, фашисту, чтобы у него башка напополам расколелась!

Это у братишки такая присказка. Насчет всего: орех ли расколеть, гвоздь ли забить. Иной раз, ни с того ни с сего, вдруг запоет какую-нибудь песенку собственного сочинения: «Одна у нас отрада — бить фашиста гада...» Вот так, ни с того ни с сего, за столом, предположим, сидя. Ребенок! Что с него возьмешь. Но иногда он обижается на «ребенка».

— Ты! Большой мне нашелся тоже! — говорит он тогда обиженно. — Если отец сказал: «За старшего остаешься», — нос-то задирать не должен!

Почему-то это у всех так: когда ты маленький, то поскорее хочется стать большим. Наверное, именно поэтому многие дружат с теми, кто их на два, на три года постарше. Так они, видимо, чувствуют себя более взрослыми. Старшие же видят в них только «шестерок»: туда сбегай, сюда сходи, того принеси, этого добудь... Но «шестерка» не обижается, безропотно слушается своих друзей, почитает за честь выполнить каждое поручение — он счастлив!..

— Здравствуйте! — подошла к нам Анюк. И поздоровалась за руку — и со мной, и с братишкой. А коль за руку, значит, у нее какое-то важное дело. Это она всегда так: если пришла с делом, обязательно здоровается за руку. Я уже привык к этому.

— Оставь нас одних, — попросил я братишку.

— Ха! Секреты у них! Жених с невестой... — Братишка показал мне язык и сел на поленицу. — Никуда не пойду. Мне мать велела следить за тобой.

— Ох, врунишка! — засмеялась Анюк. — А не наоборот? Когда это было, чтобы младший за старшим следил?

— А тебе-то откуда знать? — болтая ногами, язвительно спросил братишка. — Ты-то одна, у тебя ни старших, ни младших нет.

— Потому и знаю.

— У, как много она знает!.. Ладно, уйду, — глянул на меня братишка. — Но ты мне тогда испугаться сходить разреши.

А, вот где была собака зарыта. Хитер, нечего сказать.

— Ладно, — разрешил я, — сходи. Только осторожней. На глубину не лезь.

— Сам, что ли, не знаю? Учитель! — крикнул братишка, и его будто подбросило с поленицы пружинной. Скрипнули — и закрылись за ним ворота.

Анюк подняла с земли и уложила в поленицу несколько оставленных братишкой поленьев. Села на чурбан и натянула на колени, чтобы они были прикрыты, подол платья.

— Алексей... — начала она. Она всегда зовет меня Алексеем и никогда, как другие, — Алюшем, Аликом. — Понимаешь... у меня родилась одна мысль. Никак не дает мне покоя... Вот, знаешь ли...

— Не знаю, — весело перебил я. — Ты пока все вокруг да около.

— Вот я и собиралась, — сказала Анюк. — Легко, думаешь, начинать? Слов не хватает. В общем, я вот о чем... В колхозе недостаток рабочих рук. И как ты полагаешь, если мы... ну, комсомольцы нашей школы, организуем



бригаду? У нас ведь такие ребята есть, которые на жнейке могут работать. Митрий, скажем. Пусть нам в страду не только подбирать колоски доверят, это и малыши могут, а и убирать хлеб, снопы на гумно возить. И у молотилки мы работать можем. Так ведь? Нужно собраться нам вместе, комсомольцам школы и сельским комсомольцам, и обсудить это дело. А?

Анюк — член комсомольского комитета школы. Но когда она что-нибудь задумывает, прежде чем идти со своим предложением в комитет, она обычно обсуждает его со мной. Так уж у нас получается: мне легче открыть душу ей, чем какому-нибудь мальчишке, а ей — мне.

— Мысль хорошая, Анюк. — Я бросил топор к поленнице и сел рядом с Анюк на другой чурбан. — Но прежде чем с сельскими комсомольцами встречаться, надо какой-то план набросать... четко продумать, что мы действительно можем. Я одобряю, я «за», но ты в комитете хорошенько посоветуйся. Я ведь только рядовой комсомолец.

Анюк вспыхнула.

— А с рядовым что, нельзя посоветоваться? — И посмотрела на меня. — Не ожидала я от тебя. На будущий год обязательно в комитет изберем, для того хотя бы, чтобы с тобой советоваться можно было.

— Да ты не поняла, — постарался я поскорее загладить свою неловкость. — Ты ведь все равно в комитете об этом говорить будешь, не обойдешь его. Просто я советую тебе, чтобы вы там хорошенько все обдумали.

— А, — протянула Анюк. — Ну, извини тогда. А ведь правда, — с живостью сказала она, —

это здорово было бы — наша собственная, ученическая бригада? Мы бы соревновались с комсомольцами колхоза.

— Главное, мы бы делали настоящее дело.

— Так я о чем? — Анюк встала. И снова подала мне руку. — Ну, спасибо тебе. Буду, значит, говорить в комитете о бригаде. Пока.

Она ушла, а я некоторое время стоял, глядя на ворота, за которыми она исчезла — ладонь моя хранила тепло ее ладони, — так прошла минута, другая, и наконец я снова взялся за топор.

Мать вернулась с поля, когда уже пригнали стадо. Она только успела разжечь огонь под котлом, чтобы готовить ужин, как в сенях у нас раздались шаги и дверь раскрылась.

— Это я, доченька, — сказал дед Паймук, переступая порог.

— Добрый вечер, дедушка. Проходите, — пригласила мать.

Дед Паймук прошел в избу и сел на лавку.

— Решил вот заглянуть... поговорить, — сказал он, — Не чужие ведь люди. С его-то вон, — кивнул он на меня, — дедом, чай, Колчака гнали. Жаль, умер... Пусть земля ему пухом будет.

— Спасибо, что зашли посидеть, что не забываете, — вздохнула мать. — Слово, говорят, старого человека, четверем словам молодого равняется.

— Не знаю, так ли, нет ли... — протяжно ответил дед Паймук. — А что много пришлось испытать в жизни — так это так. Да-а... вот, говорю, решил зайти. До того, как в сол-

даты призваться, отец Алюша, подумал я, все-таки конюхом работал...

— И хорошо работал,— подхватила мать.— С душой.

— Да, да,— согласился дед Паймук.— Именно. С душой. И сказал, непонятно к чему: — Правление теперь тому, кто на работу выходит, по килограмму хлеба в день выдает.

— Выдает. И на детей по двести граммов,— отозвалась мать.

— То-то вот и оно. И вчера, и сегодня я целый день думал... А потом решил: идти прямо к тебе и поговорить.— Дед Паймук опять что-то недоговаривал.

— Очень хорошо, что пришли,— произнесла мама. Я видел, она пытается понять, к чему клонится невнятная речь деда Паймука.

— Да-а, так о чем я думал,— сказал дед Паймук.— Я ведь у табуна-то один остался. Напарник нужен. Так, может, Алюша в напарники? В отца, поди, пошел, любит лошадей. Яблоко, говорят, от яблони недалеко падает. Будет он если со мной на пару — килограмм хлеба домой приносить станет. С председателем-то я уж и говорил, он не против...

Дед Паймук умолк, вопросительно глядя на мать.

Мать взглянула на меня.

— Это уж как сам Алюш...— неуверенно протянула она.

Килограмм хлеба. Большое подспорье для нашей семьи. Тогда у нас на день будет выходить два килограмма и шестьсот граммов!.. Конечно, килограмм хлеба за просто так не дадут, придется нелегко... но я ведь остался за старшего!

— Чего ему не пойти, — снова начал дед Паймук. — Каникулы сейчас, значит, свободен. Если ночью не поспит, так днем всегда отоспаться можно. Днем в табуне три-четыре лошади остаются, те, у которых шею ли, грудь ли хомутом натерло. Да и ночью ничего страшного: стреножишь лошадей — и пасутся они возле тебя, далеко не уходят...

Дед Паймук говорил так, будто ему очень нужен был напарником именно я и он боялся, что я не соглашусь.

— Алюш, — подкидывая дрова в очаг, снова посмотрела на меня мать. — Ну, что скажешь?

— А что мне говорить... Я с удовольствием, — сказал я с нарочитой лихостью, чтобы деду Паймуку было приятнее.

— Я так и думал, — поднялся дед Паймук. — Отцово место, кому и занимать его, как не тебе. Буду Ехвиню писать, «Молодец твой сынок!» напишу. — Он улыбнулся. — Что ж, одевайся тогда — и приходи к роднику.

— Прямо сейчас? — заволновалась мать. — Мы еще и поужинать не успели...

— Э, доченька, за дело надо браться смело. Сегодня ли, завтра — не все ль одно? Потеплее одевайся, Алюш. Ночи, бывает, прохладные случаются. А ужинать... отрежь кусок хлеба побольше да солью покруче посыпь. Вот и ужин.

Дед Паймук ушел.

А мать вынесла мне из чулана отцову фуфайку, узду, с которой отец всегда уходил в ночное, и я стал собираться.

### 3. Школа деда Паймука

К лошадям я привык быстро. Смело подхожу к ним, надеваю путы — и вылетаю из-под лошадиного брюха, как птичка.

— Молодец! — подбадривая, хвалит меня дед Паймук. Похвальное слово — как окрыляет. Его пьешь, будто родниковую воду в жаркий, измучивший жаждой день.

Летние ночи коротки. Но все равно то и дело клонит тебя ко сну. Веки становятся такими тяжелыми, будто к ним подвесили по килограммовой гире. Хоть подпорку ставь им — все равно закрываются. Никак не получается одолеть сон.

Дед Паймук замечает это. Первые ночи, видимо для того, чтобы мне было полегче втягиваться, он разрешал мне вздремнуть часок-полтора. А вот уже вторая ночь, как только я начинаю зевать, он приказывает:

— Ну-ка разок обойди табун.

Я поднимаюсь, беру кнут и иду в темноту. На ходу я еще распеваю песни, и, когда возвращаюсь, сна во мне нет совсем.

— Все в порядке, — говорю я деду Паймуку, усаживаясь рядом с ним.

Но как только сядешь, через какое-то время сон начинает одолевать тебя снова.

Тогда дед Паймук затевает разговор.

— Слушай-ка, Алюш, — говорит он, — а ты по птичьим голосам можешь определить, сколько времени?

— Как это? — удивляюсь я. — Разве птица может знать, сколько времени? У нее же, — шучу я, — ни стрелок, ни цепочки, ни гири нет.

— Нет, — соглашается дед Паймук. — Ни

цепочки, ни гири. Но время они все равно правильное говорят. Вот давай, послушаем немного. Скоро петух деда Якова загорланит.

Большая Медведица на небе уже накренилась, уже начала литься вода из ее ковша.

Хриплый петушиный крик прорезал ночь. Увязая в ночной сырости, он прокатился по оврагу, ударился о стену леса и потух.

— На голос попа из села Сала похож, а? — радостно сказал дед Паймук.

— Какой там поп? — недоуменно спросил я. — Церковь же там закрыта.

— А, ты ведь не помнишь того попа, — сообщил дед Паймук. — Такие голоса вроде басом называются.

Через мгновение к басу Яковского петуха присоединился высокий, какой-то бранчливый тенорок другого петуха.

— Вишь, как старуха Якрава на попа-то несет, — засмеялся дед Паймук.

Я тоже засмеялся.

Про старуху Якрава мне ничего объяснять не нужно. Я ее хорошо знаю. Она ни с того ни с сего может разругаться. Такой, скажем, случай. Пришла однажды в лавку за сахаром. Двое их было: она и ее сосед, она за ним стояла. Сосед ее тоже взял сахар. Взял и отошел в сторонку, но не уходит, смотрит, что еще в лавке есть. Гут старуха Якрава и начала. «Я, видать, помешала вам, не вовремя пришла, не даю вам из-под прилавка-то торговать! Какие еще такие товары есть, что вы прячете? Завоз, поди, был, дефицит привезли!..» Продавец — объяснять ей, что никакого завоза не было, никакого дефицита нет у него, сосед — что он просто так задержался, нельзя, что ли, задержаться, а она ниче-

го не слушает, знай кричит, что они жулики. Потом в сельсовет пошла и оттуда в сельпо звонила, спрашивала, привозили что в лавку последние дни или нет...

— Ну вот, час ночи время,— сказал дед Паймук.— Петух Якова известил нас о начале нового дня. Давай дальше слушать. В жизни, Алюш, все пригодится. Вдруг, скажем, в партизанах тебе быть придется, а часы у тебя встанут? Поневоле птичьими часами придется пользоваться.

Восток начал голубеть. Я и не заметил, как, прислушиваясь к ночной тишине, совершенно проснулся.

Невдалеке, у речки в черемушнике, засвистел, защелкал соловей.

— Ишь, промывает росой свое горлышко. Молодец соловей. Два часа, значит. А голос-то, Алюш, а?! Прямо как у Анюк.

Я покраснел. Хорошо, что в темноте это не видно. Мне было приятно, что дед Паймук сравнил голос соловья с голосом Анюк, но почему именно Анюк? Спросить если — так неудобно...

А вот зазвенел и жаворонок. Прямо чувствуешь по звуку его голоса, как он поднимается все выше и выше. И вот уже он виднеется на фоне алеющего неба маленьким трепещущим комочком.

Словно застыдившись, что проспала, торопливо, захлебываясь, запела перепелка: поить-пойль-тень!

— Три часа,— подал голос дед Паймук. Рассвело.

Запели зяблик и овсянка. Они будто приветствуют поднимающееся солнце. Выходит,

уже четыре часа? Вот и ночь прошла, и спать совсем не хочется.

— Одни только воробьи еще не проснулись,— с осуждением сказал дед Паймук.— Самая ленивая птица, воробей. Недаром же о трудолюбивом человеке говорят: «У него сон соловьиный». А воробей только в пять часов проснется! Он вроде нашего Ивана Хаяха. Тот такой же.— Дед Паймук поднялся.— Давай, Алюш, погоним лошадей к роднику. Пусть рабочий человек поскорее на работу отправится. Солнечный день — зиму прокормит.

Я ношусь от лошади к лошади, снимаю путы. Они пофыркивают, встряхивают гривами и сами послушно идут вниз, к роднику.

#### **4. Просьба почтальона**

Когда мы приходим к роднику, нас уже там ждут. Женщины сидят на траве, подложив под себя кто что, лица их обращены к поднимающемуся над лесом солнцу.

Кони, сталкиваясь боками, подходят к длинному корыту и начинают пить.

Женщины встают со своих мест.

— Поздновато сегодня пригнали,— говорит одна.

— Да угнали далековато,— винясь, отвечает дед Паймук.— Больно уж у западного лога трава густая да сочная.

— Это хорошо, что на такой траве паслись,— вмешивается другая женщина.— Конь сыт — и дело пойдет.

— Вот и мы с Алюшем так же решили,— говорит дед Паймук, весело взглядывая на меня. Ему, кажется, приятно эта бесхитростная



похвала.— Иди-ка, Алюш, позавтракай,— говорит он мне затем.— Ты здесь, пока лошадей разбирают, не нужен. Капризных я женщинам сам взнуздаю. Иди, сынок. По пути забеги к почтальону и возьми газету. Потом почитаем вместе. Теперь без газеты— все равно что без глаз.

— Хорошо,— отвечаю я деду Паймуку и быстрым шагом иду в деревню. А солнце, только-только поднявшееся над лесом, так и припекает, даже через рубашку. Жаркий, значит, будет нынче день.

Вот я уже пересекаю овраг и выхожу на улицу. Она совершенно пустая. Взрослые, видимо, все уже в поле, а малышня, что гомонит на улице день-деньской, еще спит.

Путь мой пролегает мимо дома тетки Таись. И когда я сравниваюсь с ним, ворота неожиданно раскрываются, и оттуда, с пустыми ведрами на коромысле, выходит Анюк.

— Алексей! — в голосе Анюк и удивление от неожиданной встречи и одновременно упрек.— Значит, табунщиком пошел... Жаль. А Митрий уже начал жнейку ремонтировать.

Я не понимаю, чем я заслужил упрек.

— Анюк,— говорю я.— Без лошади жнейка — ничто, с места не сдвинется. А я хожу за лошадьми. За теми, на которых вы будете работать. Значит, я вместе с вами.

— Это конечно так...— не договаривает своей мысли Анюк.

Я пробую перевести наш разговор на шуточный лад.

— Я буду связным между вами и колхозниками,— говорю я.— Отважным и смелым. Выполню любое задание. Сего-

дня же начинаю налаживать связи.

— Налаживай...— В голосе Анюк я вдруг отчетливо слышу грустные нотки.— А мне хотелось, чтобы мы вместе работали. Рядом.— Она взглядывает на меня и отводит глаза.

Я не ослышался? Что они значат, эти слова? Сердце у меня в груди так и загрохотало, к голове прихлынула кровь. И уши, наверное, покраснели...

Я не знаю, что мне сказать.

И вдруг, словно со стороны, слышу свой голос:

— А я тебя всегда чувствую рядом...

Как это сорвалось у меня с языка? Кто говорил за меня?

Анюк снова взглядывает на меня, и на лице ее проступает какая-то шаловливая улыбка. На щеках от этой улыбки — маленькие веселые ямочки.

— Не сердись, что с пустыми ведрами встретишься,— говорит она.— Я тебе ничего плохого принести не могу. Думала у родника тебя увидеть, а ты вот сам к моим воротам пришел.

Она смеется, поворачивается и, покачивая ведрами, быстро идет в сторону родника.

А я стою и смотрю ей вслед. И такое у меня на душе... нет, простыми словами это не выразить. Так вот что они значат, эти слова — «душа поет»: и в самом деле, будто поет! И мне хочется петь, орать счастливо во весь голос, и только единственное меня сдерживает — что подумают люди. С ума, скажут, сошел, что ли...

Вот в таком состоянии я и вошел в избу к почтальону Ахванесю.

— За письмом, что ли? Да я бы и сам принес,— сказал Ахванесь.— Пишет отец, на вот. Уж я его почерк знаю.— В голосе его столько радости, будто отец мой написал ему.— Я теперь, Алюш, почерк каждого односельчанина узнаю. Главное, чтобы писем с чужим почерком не было. Чужой — значит, беда...— Он вздохнул.— Нынче одно такое письмо пришло. Да... Как быть... боюсь. Прямо душа болит...

— Дед Паймук просил еще газету взять,— сказал я, нетерпеливо крутя в руках отцово письмо.

— А чего это он тебя посылает, сам не может? — Видимо, Ахванесь был недоволен, что я прервал его.— Ишь, барином каким стал!

Мне пришлось объяснить:

— Да я ведь сейчас вместе с ним табунщиком работаю.

— А, коль так. На, возьми,— протянул мне Ахванесь чувашскую газету.

В это время в распахнутое окно слышался звон пустых ведер, поставленных кем-то на скамейку у ворот. Ахванесь высунулся из окна, посмотрел на улицу и затем посыпал скороговоркой:

— Ты вот что, Алюш... ты погоди-ка, не уходи... Жена Митрофана ко мне идет. А она, знаешь... неграмотная. Может, ей письмо читать придется... А я-то... вчера, понимаешь... возвращался вчера из отделения связи... уронил свои очки и разбил...— Последние слова он произносил совершенно невнятно и путано, я едва понял его.

В сенях заскрипели половицы, и в избу вошла жена Митрофана.

— Можно войду, Ахванесь? Не ругай уж, что в такую рань беспокою. Да мимо твоего дома не могу спокойно идти, ноги сами заворачивают — есть ли письмо, нет ли...

— Да, да... надо посмотреть, — все так же невнятно бормотал Ахванесь. — Я и сам уж... давно уж сам по домам идти собираюсь... Да Алюш вот пришел — так заговорились...

Я удивился. Зачем Ахванесь говорит неправду? Я ведь совсем недолго был у него. Или... или то письмо, написанное чужой рукой, пришло ей, жене Митрофана?

— Было... кажется, было... — бормотал между тем Ахванесь. — Куда же я положил, а... — Он суетливым движением взял свою почтальонскую сумку и поискал в ней. — Куда же... А, вот оно! — И он подал жене Митрофана четырехугольный стандартный конверт.

— Да вроде Митрофан-то обычно треугольником посылает письма? — то ли Ахванесь, то ли самое себя спросила женщина. В голосе ее были ожидание и страх.

— Видно, под рукой настоящий конверт оказался, — проговорил Ахванесь тоном провинившегося школьника.

Я, не распечатывая письма отца, сунул его в карман. Дома прочту. Всей семьей сразу прочтем. Все вместе порадуемся.

— Прочти, Ахванесь, — протянула жена Митрофана конверт почтальону.

— Да это я... — снова скороговоркой забормотал Ахванесь, — это... очки разбил нынче... Не вижу. Алюш вон, может, прочтет. — Он подошел к котлу с водой, снял с него круглую деревянную крышку, зачерпнул воды

ковшом — и не стал пить, опустил крышку на прежнее место и поставил на нее ковш.

— Мне все равно, кто прочтет, — тихо выговорила жена Митрофана. — Алюш так Алюш...

Она отдала мне письмо и совершенно неслышно, будто была невесомой, села на лавку. На лице ее держалось все то же выражение затаенного страха.

Я распечатал конверт. В нем лежал бланк. То, что было вписано в бланк от руки, было вписано не карандашом, которым писались обычные солдатские письма, а чернилами. Я быстро пробежал текст глазами. «...погиб смертью храбрых...» — молотом застучало у меня в голове. Вокруг неожиданно потемнело, пол качнулся и стал уходить из-под ног. Невольно я схватился рукой за край стола.

— Что, Алюш... что? Читай... — заметив все это, приподнялась с лавки жена Митрофана. Голос у нее дрожал. — Что там написано? Сам? Или друзья его?.. Без рук остался... без ног?..

— Погиб, — выговорил я.

Жена Митрофана, как приподнялась с лавки, так и замерла — будто окоченела, постояла секунду с распыленным, словно в немом крике, ртом и страшно вытаращенными глазами, затем странно, как собирающаяся взлететь птица, взмахнула руками — раз, другой и подпиленным деревом упала на пол.

Ахванесь заметался по избе, обшаривая ее растерянным взглядом, и было видно, что он даже не знает, что ему нужно.

— Может быть, полотенце ей на лоб положить? — преодолевая страх, спросил его я.

— А? — вскинулся Ахванесь. — А-а, да-

да, намочи,— сорвал он с гвоздя полотенце.

Я взял полотенце и сунул его в ковш с водой на крышке котла. Можно подумать, Ахванесь специально приготовил этот ковш. Затем я свернул полотенце в четыре слоя и положил его женщине на лоб.

— Может быть, еще виски нашатырным спиртом потереть? — шепотом почему-то спросил Ахванесь.

— Пожалуй,— согласился я, не зная, помогает ли это при обмороках.

Наконец через полчаса жена Митрофана пришла в себя. Она села на лавке, на которую мы переложили ее, и некоторое время сидела так, покачиваясь, невидяще глядя перед собой затуманенными, пьяными глазами. Потом простонала:

— Воды-ы!..

Я быстро зачерпнул из котла воды и подал ей.

Она потянулась к ковшу рукой, развязавшийся платок поехал на затылок, и я увидел у нее в волосах седую прядь. «Так быстро?» — подумалось мне невольно.

Жена Митрофана одним махом выпила весь ковш, сунула мне его, поднялась на ноги и, молча, покачиваясь, будто угорела, пошла из избы. В окно мы видели, как она прошла двором, открыла ворота и, все так же покачиваясь, пошла по улице. Ведра ее и коромысло остались на скамейке. Она их, видно, даже не заметила.

— Не могу, не могу, больше не могу!.. — закричал Ахванесь.— Пусть все по очереди ходят на почтовое отделение. Как пастухов по очереди кормят — вот так! Не могу я... как

жить мне — будто каждый день у меня из дома покойника выносят!.. И у меня два сына на фронте воюют... От одного уже три месяца ни строчки. Легко, что ли, думаешь, — взглянул он на меня, — похоронки по домам разносить?! Это ведь тебе не «здравствуйте» говорить! — И, обхватив голову руками, упал грудью на стол, зарыдал, и все приговаривал: — Не могу!.. Ой, не могу, больше не могу...

— Разве можно бросать свою работу? — не зная, что сказать ему, пробормотал я.

— Какая это работа — похоронки таскать!.. — простонал он сквозь слезы.

Я стоял над ним теперь молча, мучаясь от своего бессилия как-либо помочь ему.

Наконец он немного успокоился и сказал, промакивая глаза рукавом рубашки:

— Иди, сынок... иди, Алюш... Паймук, поди, устал уж тебя ждать...

Дома я застал мать. Она не уходила в поле, чтобы накормить меня завтраком.

— От отца письмо, — вынул я из кармана обмусоленный на сгибах треугольник.

— От отца письмо, а с тобой что? — заглянула мне в глаза мать. — Прямо лица на тебе нет. Или с дедом Паймуком разругались?

— На Митрофана похоронка пришла!.. — только и сумел сказать я, и меня прорвало: из глаз у меня, как из переполненного дождевыми водами пруда, хлынул целый поток слез.

— Эх, сынок... что поделаешь, война... — мать вздохнула. — Не одного Митрофана уже... Давай, ешь да беги. Ты теперь рабочий человек...

Я сел к столу. Мать раскрыла письмо и

начала читать. Читала она вслух — отец был жив-здоров, писал бодро, с юмором, и лицо у нее по мере чтения светлело, светлело, и наконец она стала улыбаться.

Глядя на нее, отходил мало-помалу и я. Тепло отцовских слов и улыбка матери словно согревали меня.

### **5. Идут дни...**

Я научился бодрствовать, не клюя носом, всю ночь напролет. Преодолеть сон ничего для меня теперь не стоит. И дед Паймук стал относиться ко мне как к ровне, стал нет-нет да советоваться со мной то по одному, то по другому вопросу. «Давай-ка обсудим, Алюш», — говорит он, подсаживаясь ко мне. Мне это, безусловно, нравится. А как же не будет нравиться?! Сидеть рядом с одним из самых уважаемых, авторитетных людей села и толковать с ним о том и о другом... Да такая честь выпадает не каждому!

Когда я рассказал, что произошло у почтальона, он перестал меня посылать к нему. «Ладно, ничего, сам зайду», — отвечает он на мои уговоры позволить мне все-таки заходить за газетой. И, помолчав, добавляет:

— А сын Ахванеса обязательно объявится. На войне, знаешь, всякое бывает. Может, в партизанах ходит».

Газету сначала он заставляет читать меня. Сидит, слушает-слушает, и вдруг его прорвет:

— Ах он, дерьмо поганое, Гитлер вонючий, к Волге он решил выйти!.. Мало, видать, его под Москвой мутузили. Ладно, еще получит. Не нажрался Европой, на нас напал... При-



думал тоже! Четырнадцать государств нас одолеть не могли, а мы тогда не то, что сейчас, голодранцами были!.. Свернем мы голову этому фашисту, дай только срок. Не народилось еще на свете такой силы, которая бы могла победить нас...

Успокоившись, он берет газету и читает ее уже сам, и снова от заголовка до подписи «редактор».

— Во, теперь душа довольна, — говорит он, сворачивая газету.

Днем в поле чудо как хорошо. В небе звенит жаворонок. Из ржи то и дело подает голос перепелка. Кружит, то ли выглядывая мышей, то ли надеясь схватить какую-нибудь зазевавшуюся пичугу, ястреб, вдруг замрет на одном месте и стоит, будто его привязали к небу ниткой.

В поле работают три жнейки. Одна из них — комсомольцев школы. Ребята идут за ней и вяжут снопы. Среди них — и Анюк. А к вечеру на свежей стерне поднимутся копны.

Перед закатом мы с дедом Паймуком приходим к роднику. К роднику по окончании рабочего дня приводят всех разобранных утром на работы лошадей. Мы с дедом Паймуком, пока табун еще не собран, ужинаем по очереди, а потом гоним лошадей в луга.

Я научился надевать путы на лошадей за одно мгновение. Теперь это дело для меня — все равно как игра.

— Молодец, быстро осваиваешься с работой. Легко тебе дается. Но смотри, чтобы легкость эта не приучила тебя после шаляй-валяй работать, — наставляет меня дед Пай-

мук.— Некоторые вон, как посмотришь — «Э, мне что, мне все равно, что делать, все могу», — а сделает, взглянешь — плакать хочется. Чтобы ты вот таким не сделался.

— Нет, дедушка, — говорю я, — спасибо тебе, я не сделаюсь. — Мне хочется говорить и говорить ему слова благодарности за все его «уроки», но я стесняюсь, я боюсь, что он еще решит, будто я стал лебезить.

В один из вечеров, только мы пригнали лошадей на луг и я закончил спутывать их, дед Паймук вдруг сказал:

— Слушай-ка, Алюш... Ты ведь еще молод, у тебя еще свои интересы... все со стариком да со стариком — тебе, поди, уж и надоело? Иди-ка давай в деревню, лети на гулянье. Попляши, повеселись. Может, и девушку какую до дому проводишь...

У меня запылали щеки. Дед Паймук сказал про девушку — и передо мною сразу встал образ Анюк. Мне не нужна какая-нибудь девушка, мне нужна только Анюк... А может, дед Паймук знает об этом, но просто уж решил не говорить впрямую?

Для начала я отказался, сделал вид, будто мне нисколько не хочется никуда идти. А вдруг дед Паймук решил меня так проверить? Но он повторил:

— Иди, иди. Лети! Я здесь пока сам управляюсь.

Хоть и страда, а молодежь все равно собирается за околицей. Поют, пляшут, играют. Подумаешь, глядя — войны и в помине нет. Но что же, если война, так и сидеть, голову повесив? Нет, это только на руку врагу. Кто поддался горю, того легче сломить.

И хорошо, что молодость берет свое.  
... Когда я пришел, гулянье было в полном разгаре.

Увидев меня, Митрий с Анюк закричали в один голос:

— Сегодня, глядите, и Алексей пришел!

— Завтра, значит, солнце с заката взойдет,— подначил меня кто-то.

Я ничего не ответил, я был слишком в радостном настроении, чтобы обращать внимание на такие вещи.

— Идем, вставай в хоровод! — потащил меня Митрий. Руки у него были прямо железные. Сразу чувствуется, что работал в кузнице вместе с отцом. И на жнейке он сейчас работает наравне со взрослыми.

Круг хоровода медленно движется по поляне. И все ступают одновременно, как берут в песне одну ноту. Анюк запекает:

Плывет туча,  
Плывет туча,  
Выше тучи —  
Самолет...

Голос у Анюк высокий и звонкий. Но он лишь мгновение звучит в одиночестве, к нему тут же присоединяются еще два десятка, и он растворяется в общем хоре.

Самолет, оказывается, летит громить врага. Его обстреляли, летчик ранен, но, несмотря на то, что истекает кровью, он все же подбивает фашистский самолет. Фашистский самолет падает, объятый пламенем, на землю, а наш летчик находит в себе силы, чтобы дотянуть до своей территории и совершить посадку. Потерявшего сознание, его увозят в госпиталь.

Он выздоравливает и приезжает на побывку в родную деревню.

Плывет туча,  
Плывет туча,  
Выше тучи —  
Самолет, —

так кончается песня. Храбрый летчик снова на фронте и снова летит громить врага.

На мгновение на поляне устанавливается тишина. Будто река, с грохотом катившая свои воды через пороги, вынеслась на равнину.

Тишину эту прерывает Митрий:

— Давайте в «ватрушку»\*, — кричит он, хватая меня за руку, втаскивает в центр круга и тут же убегает, снова становится в цепь хоровода.

Как Алешина-то мама  
Испекла ватрушку, —

начинает он, и все подхватывают:

Испекла ватрушку!..  
Вот тако-о-й вышины-ы... —

сцепленные руки тянутся вверх.

Вот тако-ой нижины-ы... —  
все приседают.

Вот тако-ой ширины-ы... —  
круг растягивается до предела, кажется он сейчас разорвется...

Вот тако-ой толщины-ы... —  
круг рассыпается, все с хохотом бросаются на меня, молотят кулаками по спине, по плечам, а я уворачиваюсь от ударов и стараюсь вырваться на волю.

Среди других голосов я различаю голос

---

\*В а т р у ш к а — игра, аналогичная русскому «Караваю».

Анюк, ее смех, и меня обдает острой волной нежности к ней.

— А может попляшем?! — раздается голос другого моего одноклассника, Игнатия, и тут же, следом, он растягивает мехи своей однорядки.

Звуки гармошки будто зовут, будто призывают: «Плясать! Плясать!» Я и сам не замечаю, как ноги у меня начинают ходить ходуном, выделять разные коленца, — и вот уже круг снова восстановлен, я в центре его, а все, в ритм мелодии, хлопают в ладоши.

— Э-э-эх! — не выдерживает Митрий, хватая свою трехструнную балалайку, и теперь они звучат вдвоем: гармошка и балалайка. — Девушки, выходите подсобить Алеше! — кричит Митрий.

И тут же в круг выходит Верук с улицы Лешкасс.

Я лихо подпрыгиваю, а потом иду в присядку. Верук скромно кружится вокруг меня, и легкий вечерний ветерок развеивает подол ее платья.

Девушки начинают петь частушку:

Тянет из лесу прохладой,  
Поддувает ветерком.  
Скоро ль милый мой назначит  
Мне свиданье вечерком?

— Нынче же! — кричит Митрий.

— А если мать сковородником шуганет? — весело спрашивает из круга Верук.

— Сковородником о мою спину бить — без сковородника остаться: сломается! — отвечает Митрий, резким движением кладет балалайку на пень и вылетает на круг, сменяя меня: — Э-эх! Не могу больше терпеть!..

Шумит, плещется на поляне веселье...

Я улучил момент, подошел к Анюк, встал с ней рядом и прошептал:

— Анюк, можно тебя проводить по пути? А то мне уже пора идти — дед Паймук один у табуна...

— Сперва ты иди. А то неудобно вместе... — тоже шепотом ответила Анюк.

Я недолго ждал ее — она ушла, наверное, сразу же за мной.

Мы пошли по улице в сторону ее дома.

Но теперь, когда мы остались вдвоем, я не знал, как мне вести себя, что говорить. Анюк, видимо, почувствовав, что дальше молчать неловко, заговорила сама:

— Ты знаешь, Алексей, дела у нас в бригаде де идут все лучше и лучше. Мы даже вперед колхозных комсомольцев вышли. У них жнейка испортилась. Грабли крутятся, а нож не режет. Полдня в кузнице потеряли, отремонтировать не могут. Старик кузнец, что вместо отца Митрия сейчас в кузнице работает, говорит: не могу понять, что у вас случилось. И тут Митрий всех удивил, знаешь. Обнаружил неисправность и устранил. Потом старик-кузнец ему сказал: «Быть тебе инженером». Вот как! — В голосе ее прозвучала гордость.

— Ты уж не влюблена ли в Митрия? — спросил я с угрюмостью.

— Влюблена? — переспросила Анюк. — При чем здесь влюблена? Просто я радуюсь таланту человека. Вот и все. Разве это плохо? Эх, Алексей!..

И до самого своего дома она не сказала больше ни слова.

А я шел и терзался, что не утерпел, задал этот свой дурацкий вопрос.

В деревне, как это известно, у ворот каждого дома стоит скамейка или лежит мощная дубовая плаха, та же, собственно, скамейка. На этих скамейках вечерами и в праздничные дни собираются посидеть, поговорить взрослые. А когда они уходят спать, скамейки, расходясь с гулянья, занимают влюбленные пары.

И мы с Анюк, подойдя к ее дому, тоже сели на скамейку. Меня вдруг осенило, о чем говорить. Я начал рассказывать о деде Паймуке, о нашей работе. Скучновато, конечно, все время, изо дня в день, из ночи в ночь, все вдвоем да вдвоем, но что ж поделаешь? Такая работа. Вот начнутся занятия в школе, тогда уж на шумимся все вместе...

Анюк вдруг перебила меня:

— Алексей, тебе можно довериться?

— Да вроде ты... раньше всегда доверялась,— пробормотал я, стараясь увидеть в темноте ее глаза.

— Раньше... Сейчас совсем другое.— Она замолчала, словно раздумывала, стоит ли говорить. Потом сказала с решительностью: — Понимаешь, я очень за маму беспокоюсь... боюсь! Она отцу на письма не отвечает. Я ему пишу. Пишу, что мама день и ночь на работе... Вот как я ему пишу. Отец для меня... Когда я была маленькой, он сам стирал мне мои рубашки и штанишки. Правда. А сколько игрушек понаделал!.. И сейчас полный ящик в сарае стоит.— Анюк вздохнула и сказала совершенно по-взрослому: — Хоть бы он живым-здоровым вернулся... Но только, Алексей,— повернулась она ко мне, и в

голосе ее я почувствовал боль,— только ты об этом, что я тебе сказала,— никому...

— Что ты, Анюк,— сказал я.— Это только между нами... спасибо за доверие.

— Да,— проговорила она,— да. Ведь знаешь, как хочется открыть душу дру...— Она запнулась (хотела ли она сказать «другу» или же «другому?»).— Ты ведь у меня единственный товарищ,— проговорила она, поднимаясь со скамейки, и подала мне руку. Я встал и взял ее руку в свою. Она у нее была шершавая от работы в поле и горячая. Так мы стояли некоторое время, потом Анюк попросила: — Отпусти... Люди увидят, что скажут...

— А что могут сказать?

— Ладно, пока.— Анюк отняла у меня свою руку и быстро пошла к воротам. У ворот остановилась, повернулась ко мне и сказала с улыбкой: — До встречи, помолчала и добавила: — Иди. Дед Паймук, наверно, тебя уж заждался.

Звякнула за нею щеколда. Мне послышалось, будто Анюк проговорила при этом: «Погоди немного».

Я ждал долго. Но за воротами не раздавалось больше ни звука. Тишина была и во всей деревне. Только вдруг хриплым своим басом загорланил петух деда Якова.

Ого! Значит уже час ночи!

Я последний раз бросил взгляд на ворота, за которыми скрылась Анюк, и побежал в ночную темноту, к деду Паймуку.

\* \* \*

С дедом Паймуком мы все так же ведем бесконечные разговоры. В деревне говорят про



него: «Э, дед Паймук хлебнул жизни». Поэтому я стараюсь так повести разговор, чтобы он начал рассказывать о себе. Задаю вопрос за вопросом, и он, сам того не замечая, начинает рассказывать. Всякий свой рассказ он начинает словами: «Это было так». И дальше слушай его, только не ленись.

Характер у деда беззлобный и мягкий. Но когда говорит о фашистах, лицо его суровеет: — А врагов, сынок, жалеть нельзя, им надо мстить. Мало мстить, можешь — голову ему отруби, уничтожь. На то он и враг твой

Днем он обычно плетет лапти. Сядет на какой-нибудь взгорок, чтобы видеть пасущихся лошадей, и плетет. Лапти эти — заказные, женщины приходят к нему и просят «обуть» своих детишек. Дед Паймук не отказывает. Забирая лапти, женщины пытаются «отблагодарить» деда, но он не принимает никаких подношений. «Разбогатею я на твои деньги?! — сердито говорит он женщине. — Ну, и убери. Пусть детки здоровыми вырастут, вот, значит, и ты, и я, оба мы, будем богаты». Женщина теряется, не знает, что ей и делать с ее «подношением», и наконец желает деду Паймуку долгой жизни. «Вот за это спасибо», — радуется дед.

Еще его приглашают крыть соломой крыши. Это не такое простое дело — настилать солому надо уметь. «Крыша должна, как девушка в шелковом платке глядеться, а не как старуха в дерюге», — наставляет он по ходу работы. И вправду, крыши у него получаются — любодорого посмотреть. «Тут дед Паймук руку приложил», — говорят в деревне о вновь настеленной красивой опрятной крыше. И никогда не ошибаются.

Такой вот он, дед Паймук.

Однажды, разговорив его, я услышал историю его рождения.

— Я, Алюш,— вздохнул он,— можно сказать, по недоразумению родился. Отец мой по недоразумению женился, а я, значит, по недоразумению родился. Азатте\* мой, видишь ли, все старался с людьми побогаче знаться. И вот так-то познакомился в деревне Аруй... подружился вроде. Это мой будущий кугусей\*\* был. А у него, у кугусея-то, четыре дочери на выданье... Ну, а раньше, слышал, поди, не очень-то спрашивали, любишь девушку или нет, решил за тебя отец — и делу конец. Правда, отцу моему на смотринах девушка понравилась. Ну, перед уборкой поехали за невестой. Сели за стол, стали выпивать-закусывать. А отец мой, надо сказать, трезвенником был. Но тесть будущий уговаривает — отказать нельзя. Выпил одну рюмку, выпил другую. А тесть-то все подливает да подливает. Ну и окосел отец. Настал момент невесте выходить. Вышла она, лицо, как положено, платком закрыто. Еле ее отец до тарантаса довел. Довел — и растянулся в нем. А азатте мой вожди в руки и — но-о, пошел!.. Приехали к себе, молодоженов, по обычаю, в амбаре закрыли. Ну все, женился, новая жизнь началась. Утром бабушка зовет невестку из амбара, просит за водой сходить. Выходит отец вместе с нею на свет — что такое?! Прямо остолбенел. Потом бросился в избу, кого мы привезли, спрашивает. А дед ему: «Кого нужно. Радоваться должен. Родители за нее коня и го-

---

\* Азатте — дед со стороны отца.

\*\* Кугусей — дед со стороны матери.

довалого теленка дали». — «Да мне что, с теленком, что ль, жить?» — «Кого привезли, с той и жить, — дед отвечает. — Не ребенок уже, жизнь надо уметь строить». Ну вот, вот такая жизнь началась у моего отца. А с уборкой управились, он взял да и махнул в город. Работником к одному купцу нанялся. Когда я родился, на неделю все же приехал домой. А мать после родов заболела крепко. Раньше ведь как, раньше женщина прямо в день родов начинала работать. Ну и заболела вот. За человека женщина не считалась, как на скотину на нее смотрели... Теперь вон как о роженице зоботятся, вон как берегут! И правильно. Э, что говорить... Мать моя недолго болела, закрыла глаза навсегда. Меня, говорят, козьим молоком выпаивали. Оттого-то, видать, я и крепкий — никакая болезнь не пристает ко мне. Козье молоко ведь целебно. Отец у меня, надо еще сказать, мастером, как говорится, на все руки был. Гусли мастерила, скрипки. Когда я подрос немного, он и мне гусли сладил. До сих пор я на этих гусях играю, радую людей... А там еще вот что было, когда мать умирала. Она отца позвала к себе и говорит: «Не вышла у нас жизнь... и тебя, и себя я обманула. Но когда кобыла ожеребится, сохрани жеребенка, не дай перевестись роду. Может, пригодится Паймуку». И вот, понимаешь ли, на жеребенке того жеребенка я Колчака бил. Вот как, а?! А отца уж в коллективизацию кулаки убили. Районные руководители приезжали на похороны, оркестр играл... — Дед Паймук снова вздохнул. — Ну, а уж для меня отец девушку не искал. Сам нашел. Двух дочерей замуж выдал. Двух сыновей поженил. Теперь вот и они, и зятя на

фронте... Дай им бог живыми вернуться...

Дед Паймук умолк и молчал долго, молчал и я — что скажешь в таких случаях? Неожиданно дед Паймук поднялся на ноги:

— Слушай, Алюш. Вон в логе Келетле Иван Хаях зябь поднимает. Он ведь? Я уж с утра за ним слежу. С утра — два круга всего. А? Если так работать... Вот, опять сели! Колхоз им обед на поле привозит, хлеб выдает... Идем-ка, прямо на лошадях поскачем. Мы сели на лошадей и поехали к логу Келетле.

— Чего зря лошадей гоняете? — развязно крикнул Иван Хаях, когда мы подскакали к нему. Он лежал на земле, подстелив под себя фуфайку, и дымил трубкой. — Для того вам их доверили?

Он был здоровый, но пожилой мужчина, и не подлежал призыву.

— Ты как, пахать вышел или спать? — не обращая внимания на его зубоскальство, спросил дед Паймук.

— О, бригадир объявился!.. — все тем же тоном, веселясь, сказал Иван Хаях. — Да кто ты? Такой же, как я... только конюх. Во, и все. Вся разница. Куда спешить-то? Солнце и завтра взойдет.

— Кто я, спрашиваешь? — сказал дед Паймук. — Я труженик земли. Хозяин ее. И бригадир, и председатель.

— Ох, ох! — застонал Иван Хаях, хватаясь за живот. — Председатель нашелся...

— А ну-ка вставай! — У деда Паймука даже задрожали губы. — Хороший пример молодежи, что с тобой работает, показываешь. Понимаешь это или нет?!

— Ребята! — со спокойной улыбкой повел Иван Хаях глазами в сторону троих парней, что поднимали зябь вместе с ним. — Скажите вы ему, пожалуйста, что я вам плохого сделал? Устали вы — и присели чуточку отдохнуть.

— Да, от такого долгого отдыха и в самом деле устанешь, — буркнул один из них.

Иван Хаях с недовольным видом поднялся с фуфайки.

— Вот, делай добро людям!.. Теперь до обеда будете без отдыха вкалывать...

— Нечего их страшать, — прервал его дед Паймук. — Двух кругов сделать не успеете, обеденное время подойдет. — И посмотрел на меня. — Алюш, напиши про Ивана Хаяха заметку в стенную газету. Я тоже подпишусь.

— Испугали! Умер от испуга! — Иван Хаях рухнул на землю подпиленным столбом. Он так натурально упал, что на мгновение я даже подумал, не потерял ли он сознание в самом деле. Но Хаях тут же вскочил на ноги и замахнулся на деда Паймука кнутом: — Вот сейчас врежу, чтоб знал!..

Тот самый парень, что уличил Хаяха во вранье, бросился к нему и перехватил его руку.

— Не стыдно?! На человека кнутом!

— А ну, отпусти, — оттолкнул его Иван Хаях.

Парень повернулся и пошел к уныло переступавшим ногами поодаль лошадям.

— Сопляк какой! — прокричал ему в спину Хаях. — Учить меня!.. Все, с тобой больше не пашу.

— Не ты, а я, — повернулся парень. — Я с тобой больше не работаю. Завтра же на уборку попрошусь.

— До чего довел человека, — покачал головой дед Паймук. — Конечно, обалдеешь — выйдя на работу, без дела весь день сидеть... Вот что, Хаях, — сказал он затем. — По-другому тебя, видно, перевоспитать невозможно — пойду нынче к бригадиру и скажу, чтобы тебе и хлеба выдали по твоей работе: полнормы.

Иван Хаях на глазах, в течение одной секунды, превратился в другого человека. Он весь согнулся, словно бы усох телом, лицо его стало елейным — никак не скажешь, что минуту назад он тут замахивался кнутом.

— Паймук, — жалобно забормотал он, — ты что... Мы ведь с тобой соседи... не надо. Картошку ты сажал, кто тебе огород пахал? Я...

— Я тебе за это вроде бы деньги платил? — сказал дед Паймук.

— Платил... да, платил... Но ведь и на следующий год картошку нужно сажать будет...

— Я вон Алексея позову, — качнул в мою сторону головой дед Паймук.

— В стенную газету пишите, пожалуйста... — не прекращал Иван Хаях. — Осрамите меня, ладно... Но хлеб-то... хлеб-то у меня не трогайте. Хорошо? Простите на первый раз...

— Какой у тебя первый раз, — сказал дед Паймук с досадой. — Все время так работаешь. А такую работу нельзя прощать. Если и на фронте так же будут сражаться, что тогда будет, а? — Он взобрался на свою лошадь и позвал меня: — Поехали, Алюш.

Напарники Ивана Хаяха, обойдя его торчащий из земли плуг, вели по полю ровную красивую борозду. Лошади Хаяха зафыркали и заволновались, перебирая ногами. Казалось, они просили его поскорее взяться за плуг.

## 6. Приход осени

Началось осеннее увядание природы. Зааели листья осин и рябины. Торопливо сбрасывает свои желтые одежды липа. Словно она торопится попасть в зиму раньше других деревьев. Ягоды рябины и калины после первых заморозков набухли, сделались круглотугими. Отправишь рябиновую ягоду в рот — она крупитчатая, рассыпчатая, сладкая. Калина же — прямо бордовая. Ее мы заготавливаем впрок на зиму. Пирог из нее получается — объедение. А еще поставишь в горшочке, размешав с солодом, в русскую печку, такое кушанье выходит — слов нет, а уж аромат — на всю улицу.

В школе начались занятия. Днем я на уроках, а вечером — с дедом Паймуком у табуна. К такому распорядку своей жизни я тоже быстро привыкаю.

Уроков у нас в день бывает не больше трех-четырех. Потом учителя ведут нас на колхозное поле копать картошку. Пока стоит хорошая погода, ее нужно выкопать как можно больше. Ведь на хранение ее нужно закладывать сухой, иначе она сгниет.

В поле хорошо. Трех-четыре человек мы сразу же посылаем в лес за хворостом. Через час, через полтора готова испеченная в горячей золе картошка. Она такая вкусная — не нужно к ней никакого хлеба. Рассыпчатая. Очистишь обгорелую кожуру — будто комок топленого масла у тебя в руке.

Собирать клубни за сохой — дело не трудное. Идешь по борозде и собираешь в ведро.

Наполнишь его — отнесешь к общей куче. А уж к этой куче подходят подводы. Мы нагружаем их — и они уезжают к колхозному хранилищу.

Работаем мы весело, азартно, с шутками, со смехом. Работа у нас спорится.

Классная руководительница Мария Николаевна очень довольна нашей работой. Она эвакуированная, из Ленинграда. Преподает литературу и русский язык. В Ленинграде она и родилась, и выросла, и крестьянский труд знаком ей, видимо, только в самых общих чертах. Но она не стесняется, расспрашивает о том, чего не знает, даже у нас, своих учеников. У нее двое детей. Сын и дочь. Сын в этом году пошел в первый класс. Он прекрасно говорит по-чувашски. Это не удивительно: поиграй-ка с утра до вечера каждый день с чувашскими ребятами. Мария Николаевна и сама уже может немного говорить по-чувашски. Я как-то слышал, как она, вставляя иногда русские слова, разговаривала с нашими деревенскими стариками.

На уроках у нее очень интересно. Сколько она нам рассказывает о Ленинграде! И не специально, нет. Вот мы проходим «Медный всадник» Пушкина. Мария Николаевна на минуту отвлекается в сторону и рассказывает нам о памятнике Петру Первому скульптора Фальконе. Потом показывает репродукцию. Вставший на дыбы конь, кажется, и в самом деле гонится за бедным Евгением. И мы этого Евгения видим уже как живого. А вот Мария Николаевна ведет нас в музей-квартиру поэта на Мойке. Затаив дыхание, мы слушаем — и снова видим. Раненого поэта несут по лестни-



це... У его постели сидит другой поэт, Василий Андреевич Жуковский... Он ни на минуту не отходит от Пушкина. А народ толпами валит к дому — попрощаться с любимым поэтом... И вот уж Александр Сергеевич последний раз обвел взглядом свои книги и сказал: «Прощайте, милые мои друзья». Он простился с книгами, как с живым человеком!..

Любим мы Марию Николаевну. Так она легко и естественно, так быстро вошла в нашу жизнь, будто и родилась среди нас. Но она ленинградка. И очень переживает за Ленинград. Ведь он в блокаде, со всех сторон окружен врагами...

Сентябрь, с первых дней до последних, так и простоял погожий. Но в октябре погода начала уже пошаливать. Полили дожди. Временами выпадал снег. Но оставлять картошку под снегом нельзя. Ведь она теперь, как стали говорить, — второй хлеб.

Выбирать клубни из холодной стылой земли голыми руками нет сил. Поработаешь час — и руки краснеют, будто обваренные, и распухают. Поэтому мы все в рукавицах. Невозможно уже применять и соху — слишком размокла земля. Теперь мы копаем лопатами. Ребята копают, девочки собирают.

Пока копаешь — тепло. Даже спина потеет. Но устанешь, остановишься передохнуть — и вмиг тебя пробирает до костей. Ветер холодный, промозглый, резкий. Волей-неволей бежишь к костру. Теперь костер у нас горит целыми днями, до самых сумерек — пока мы в поле. Приходится для этого дела держать возле него постоянно трех-четырех дежурных. Но зато всегда горячая картошка. И на нас

самых хватает, и угостить можем любого. Временами у костра собирается сразу человек десять — пятнадцать, и тогда начинаются бесконечные разговоры все об одном и том же:

— Как там сейчас у Сталинграда?..

Этот вопрос всем сейчас не дает покоя.

— Неужели через Волгу фашист перейдет?

— Не перейдет!

— Не может этого быть! Вон под Москвой... а шуганули ведь!

— А под Ржевом бои какие?!

— Да, Гитлер сказал, говорят: «Ржев нельзя сдавать. Сдача Ржева — открытие дороги на Берлин».

— Кто это так про Гитлера хорошо знает?

— Кто. Газета. Сам в ней прочитал. С июля по сентябрь, написано, фашисты под Ржевом семьдесят одну тысячу человек потеряли, пятьдесят один танк, триста пятнадцать самолетов, пятьсот шесть орудий, двести восемьдесят шесть минометов, тысяча три пулемета.

— Ничего себе, запомнил все!

— Будешь тут помнить... Чем больше их, этих фашистов, погибнет, тем, значит, победа наша ближе...

И идет, идет разговор, у каждого найдется что сообщить интересное. Только Мария Николаевна и может остановить нас.

— Эй, стратеги! — подходит она к нам. — Всех фашистов разбили? А кто за нас работать будет?

— Да, в самом деле!

— Пошли!

— Заговорились...

И снова у нас в руках лопаты, бренчат дужки ведер...

Работаем мы до самого захода солнца. Я ужинаю — и лечу к деду Паймуку.

Правление колхоза разрешило выводить табун на клевер. Мы с дедом Паймуком спутываем лошадей и садимся к копне высушенного клевера. И по установившейся уже у нас традиции начинаем рассказывать друг другу, кто что увидел за день, что узнал. Дед Паймук сильно переживает, что немцы так нажимают под Сталинградом. Но оптимизма он не теряет:

— Все равно победим. И не такое видали.

— Наполеон вон Москву брал, — отзываются я. — А мы потом в Париж вошли.

— Это я и имел в виду, — говорит он.

Осенний ветер хрипит над полем, как простуженный, состарившийся великан. Дрожат под его порывами жерди, поддерживающие копну — кажется, ветер пытается сорвать их с нее. Но жерди намертво связаны мочалом. В бессильной ярости ветер уносится к другим копнам.

«А где сейчас мой отец? Что он делает сейчас, в эту минуту? — думается мне. — Сидит в окопе? Или ушел в разведку? Или повезло, и ночует в теплом доме? Здесь-то у нас и под копной хорошо. Свист ветра — не свист пули...»

### **7. Мария Николаевна. Школьные будни**

Осень в нынешнем году выдалась трудная, и колхоз не смог, как обычно, заготовить дрова для школы. Ни дня не были свободны ло-

шади, возили и возили в город зерно, картофель... Как только выдерживали. Ладно, корму было в достатке. Вдобавок ко всему затянулась распутица. А в лес по грязи не поедешь.

Морозы ударили после Ноябрьских. А через неделю пали снега, завьюжили метели. Куда ни глянь — все белым-бело, на горке день-деньской толчется ребятня с санками. А в школе — холодина.

Мария Николаевна попросила весь класс задержаться после уроков.

— Ребята! — сказала она, когда мы угомонились. — Райплан выделил нам дрова. Я договорилась с председателем колхоза, он дает нам семь подвод. Но людей нет. Давайте двинемся за дровами всем классом, сами. Мы теперь люди взрослые, старшекласники. Что по этому поводу Алексей Андреев думает?

Андреев — это я. А обращается Мария Николаевна ко мне потому, что в нынешнем году я избран старостой класса. Это для меня, конечно, и честь, но и ответственность немаленькая.

— А что ж, — бодро ответил я. — С лошадьми обращаться умеем. И вообще... Митрий вон на жнейке хлеб убирал.

— А другие как думают? Что девочки скажут? — обвела Мария Николаевна взглядом класс.

— А мы от мальчиков никогда еще не отставали, — хором ответили ей Анюк и еще несколько девочек.

— Ну, и отлично, — улыбнулась Мария Николаевна. — Андреев, Юрганов, Володин... — перечислила она семь фамилий. — Завтра

утром приходите на конюшню, запрягаете лошадей и едете в школу. Где брать сани, вам укажут. В лес выезжаем все вместе. С нами поедет еще дед Паймук. Придется твоей маме, — взглянула она на меня виновато, — побыть на конюшне одной. Без деда Паймука нам трудно будет.

Я понимающе кивнул.

Мы с мамой теперь как бы оба в напарниках у деда Паймука. Только по очереди. Она — пока я в школе и пока делаю, вернувшись из школы, уроки. Затем я сменяю ее, и она идет домой, занимается домашними делами, варит похлебку на завтра...

Утром к школе подкатили семь саней.

Ребята были одеты по рабочему и тепло: в фуфайках, в валенках, клапаны ушанок опущены. Девочки поверх платков натянули на головы домашние вязаные шапки. Никакой мороз не возьмет. Впрочем, если по правде, так разве во время работы мерзнут? Разве что, кто руки в брюки стоять будет. Но у нас таких нет.

Из школы вышла Мария Николаевна.

— Поехали, что ль? — спросил ее дед Паймук, сидевший на передних санях. — Сейчас выедем да все в порядке будет — глядишь, и два рейса сделать успеем.

— Хорошо бы, — отозвалась Мария Николаевна, усаживаясь рядом с ним. И махнула всем рукой, чтобы размещались на санях.

Заскрипел, запел снег под полозьями. Хорошо, легко бегут кони — душа радуется! Вот уж и из деревни выехали, лес впереди синееет.

— Лиса! — закричал кто-то.

Все повскакали в санях, закутили голова-

ми. И в самом деле, вон она: на белом просторе снегов в свете восходящего солнца — как язык рыжего пламени. Стоит и смотрит в нашу сторону.

Дед Паймук залаял собакой. Лиса не шелохнулась.

— Ах, чертовка! — засмеялся дед Паймук. — Чует, что у нас ни собаки, ни ружья нет. Нюх у них, у лис, просто отменный.

Лиса, видимо насмотревшись на нас, удовлетворив свое любопытство, побежала, низко ведя носом над снегом, — мышковала.

— Охотников нет на них... — донесся с передней подводы голос деда Паймука. — И лис, и волков расплодилось...

Ну, вот и лес!.. Зимний лес по-своему красив. На ветвях громадными шапками лежит снег. Подует ветер — шапки начинают неторопливо и важно раскачиваться, иная сорвется, и серебристым, слепящим глаза дождем просыпется вниз. Где-то гулко, как выстрелили из винтовки, треснуло от мороза дерево. Стучит, добывая себе еду, дятел. Если дерево дуплистое, подгнившее — звук выходит глухой, если здоровое, крепкое — звук твердый, звонкий. У каждого дерева свой голос.

Обоз наш остановился у дома лесника. Мария Николаевна с дедом Паймуком слезли с саней и скрылись в доме. Через некоторое время они появились на крыльце уже с лесником. У лесника красное задубелое лицо и седая остроконечная борода.

— Ого, сколько тут вас! — удивился лесник. — Да вы, таким-то народом, пол-леса у меня увезете.

Он повел нас к поленницам.

— Дайте-ка сюда документы,— попросил он около них.

Мария Николаевна вынула из кармана какие-то листки бумаги.

— Вот платежная квитанция, вот наш наряд...

— Прилично вам вывозить! — проговорил лесник, посмотрев документы. — За сегодня не управитесь.

— Ничего, колхоз и завтра лошадей даст,— сказал дед Паймук.

— Приступайте,— махнул рукой лесник.

Мы очищаем поленницы от снега и ставим возле них лошадей.

Три-четыре человека забираются наверх и начинают разбирать поленницу — сбрасывать дрова вниз. А те, кто внизу, подбирают их и тащат к саням.

— С переды сани сильно не нагружайте,— учит дед Паймук. — А то лошадей по ногам ударить может. Не так, не так, а вот как...

Оказывается, даже укладывать дрова на санях надо уметь. Что бы мы делали без деда Паймука.

Чтобы нагрузить все сани, нам понадобилось около двух часов. Пар так и валит от нас. Работали, не сберегая сил, а ведь впереди у нас еще целый день такой работы. Будем разгружать дрова — надо быть разумнее.

— Алюш! — зовет меня дед Паймук. — Бери на себя передние сани — и двигайте в деревню. Со мной здесь пусть человек шесть останется, и достаточно. Мы к вашему приходу поленницы разберем, чтобы сразу грузить. Надо сегодня постараться все-таки два рейса сделать.

Мария Николаевна поддерживает предложение деда Паймука.

— Но-о! — кричу я, понукая лошадь.

Двинулись.

Быстро разгружаемся у школы и поворачиваем обратно в лес.

Поленницы уже разобраны. Осталась половина работы — загрузить сани.

Короткий отдых — и все сначала. Хотя мы и устали, дело идет. Перебрасываемся шутками, то тут, то там грохнет вдруг смех...

И вот наконец все сани снова нагружены.

— Эх! — восклицает дед Паймук. — Славно поработали. Душа радуется. Все равно как на хороших гусях сыграл.

— Вы случайно не гусяр ли уж? — так вся и встрепенулась Мария Николаевна.

— Да поигрываю, когда время есть, — увязывая воз, без всякого значения отозвался дед Паймук.

— Так вы, оказывается, нужный нам человек, — радостно сказала Мария Николаевна.

— Я всегда всем нужен, — тем же тоном проговорил дед Паймук. Это было не похвалой, это было естественным ответом человека, всегда готового всякому прийти на помощь. — Алеш! Я на передних санях поеду, а ты замыкающим. Внимательно огляди все — никто не забыл ничего?

Обоз двинулся.

Я обошел поленницы, из которых мы брали дрова. Нет, никто ничего вроде бы не забыл. В стороне сиротливо валялись два бревна, — поднял их и прислонил к поленнице. Все. Теперь все в порядке. Можно идти.



И в этот миг раздался испуганный крик Марии Николаевны:

— Андреев! Андреев! Алеша!..

Я бросился к ней.

Мария Николаевна стояла возле лошади, держала в руках вожжи, и лицо у нее было растерянное.

Оказывается, поджидая меня, она решила развернуть лошадь, взяла вожжи и стала ее понукать. Лошадь пошла. Мария Николаевна, стараясь выйти на санный след, повернула, но повернула резко, лошадь зацепилась оглоблей за дерево — и лопнул гуж. Дуга села прямо на шею лошади. Ладно, спокойная еще лошадь попалась. Стоит, моргает глазами, будто ничего и не произошло.

— Что же делать теперь? — с волнением проговорила Мария Николаевна. — Почему я не дождалась тебя...

— Ничего, не от чего падать духом, — постарался я успокоить учительницу. Как бы там ни было, все-таки она городская. Может быть, и вожжи-то впервые в руки взяла.

Я распряг лошадь, снял хомут. Гуж на нем оборвался у самого основания. Что же делать? Вдобавок ко всему начало уже понемногу и смеркаться. Вот он, зимний день. Не успеет солнце взойти, как уже садится. Прав дед Паймук: зимний день короче воробьиного носа.

Но раздумывать долго нет времени. Я развязал кожаный повод узды и, сложив вчетверо, связал его с оборванным гужом. Кое-как связал оглоблю с дугой — лишь бы держалось. Надел хомут.

— Попробуем запрягать? — посмотрел я на Марию Николаевну.

— Давай. Хоть бы все получилось,— проговорила она.— Не надо было отпускать деда Паймука.

— Ничего, сами справимся,— с решительностью в голосе сказал я, чтобы не выдать своего волнения.— В деревне ведь вырос. Летом нынче за лошадьми ходил.

— Хоть бы все получилось, хоть бы все получилось,— повторила Мария Николаевна.

Натянул и завязал супонь. Положил чересседельник. Вроде бы все в порядке. К кольцам узды привязал вожжи.

— Н-но! — дернул с опаской.— Пошла...

Снег тяжело заскрипел, взвизгнули полозья, и воз медленно тронулся.

— Поехали, Андреев!.. Ну, молодец! — радостно закричала Мария Николаевна. И осеклась, видимо застеснялась, что закричала, как ребенок.

Лошадь вышла на дорогу, и я позвал учительницу:

— Мария Николаевна, забирайтесь на сани.

Мы устроились на санях, и в этот момент из сгущающейся темноты вылетел верхом на лошади дед Паймук.

— Что случилось? — крикнул он.

— Да ничего особенного... — уклонился я от прямого ответа. Сейчас не до рассказов.

— Не отставать тогда! — приказал дед Паймук, разворачиваясь.— Гоните за мной.

Я хлестнул свою лошадь вожжами:

— Пош-ла!..

\* \* \*

Все дрова из лесу вывезены, распилены, расколоты и сложены в поленницы. На школь-

ном собрании нашему классу объявляют благодарность. Особое слово директор школы, Макар Григорьевич, говорит о Марии Николаевне.

— Городской человек догадался, как все сделать! А мы, в деревне выросшие, все хитро-выходы здесь знающие, не сообразили!.. Спасибо вам, Мария Николаевна.

Макар Григорьевич недавно вернулся с фронта. У него отнята одна нога, и он ходит на протезе.

После собрания, не сговариваясь, мы все собрались у себя в классе. Обменивались впечатлениями, вновь и вновь переживали радость того момента, когда нам объявляли благодарность.

Неожиданно Мария Николаевна спросила:

— Друзья мои! А скажите-ка мне, кто на каком инструменте умеет играть?

— Митрий играет на балалайке! — крикнул я.

— Прекрасно, — сказала Мария Николаевна и загнула мизинец.

— Я играю на гребешке с берестой, — застенчиво проговорила Хветусь, и вся так и полыхнула, опустила глаза, видимо, раскисившись, что не утерпела, вылезла: какой же это инструмент — гребешок с берестой.

— Тоже хорошо, — сказала Мария Николаевна и загнула безымянный палец. — Я сама играю на гитаре. Значит, нас уже трое. — И средний палец у нее оказался загнут.

— Игнатий на гармошке играет, — подсказала Анюк.

— Сама-то ведь тоже можешь, — тут же, мстя Анюк, отозвался Игнатий.

— Могу. Но у меня однорядка. А у тебя двухрядка.

— Ничего. У однорядной гармонии звук высокий, звонкий, — сказала Мария Николаевна. — Так что тоже считаем. — И теперь все пальцы на руке у нее были загнуты. — А как вы считаете, если еще деда Паймука с гуслиями пригласить к нам? Согласится он?

— Согласится, — твердо сказал я, будто я и был дедом Паймуком.

— Тогда, значит, у нас получается... — разогнула пальцы Мария Николаевна и начала снова загибать: — Две гармошки. Одна балалайка. Одна гитара. Одни гусли...

— Один гребешок с берестой, — перебивая ее, добавил Митрий.

— Совершенно верно, — улыбнулась Мария Николаевна. — Вот и получился у нас секстет.

— А что такое секстет? — спросила Хветусь.

Спросила и спросила, но зачем же так краснеть? Я, например, это слово тоже впервые слышу.

— Секстет — это ансамбль из шести инструментов или вокальный ансамбль из шести человек, — сказала Мария Николаевна, словно жалея, что употребила непонятное слово. — Ясно?

— Ясно, — отозвался я. — Коротко и точно. Нам нравится. А можно я тоже буду участвовать? Я петь буду.

— Конечно, можно, — отозвалась Мария Николаевна. — Даже очень хорошо.

На мгновение наши взгляды с Анюк встретились. Она поняла, почему я попросился.

— Но мы ведь, Мария Николаевна, — сказала она в следующий момент, — мы ведь не умеем читать ноты... — В голосе ее звучала неуверенность. — Мы только на слух. И дед Паймук так.

Мария Николаевна снова улыбнулась. Глаза у нее блестели, было видно, что она очень довольна.

— Все это не беда, — сказала она. — Ничего в этом нет страшного. Мы сначала будем так делать: я спою или сыграю на гитаре — а вы будете на слух подбирать. Потихоньку и разучим. Да ведь и мне надо учиться — я ведь чувашских песен не знаю. Вы тоже будете мне их сначала проигрывать. А потом постепенно и ноты читать научимся. Глаза боятся, а руки делают, так, кажется, старики говорят?

На следующий вечер секстет уже собрался на репетицию. Пришел и дед Паймук; он сразу согласился, не заставил себя упрашивать.

Сначала дело не шло. Все измучились, готовы уже были бросить эту затею, временами даже вспыхивали небольшие ссоры. Лишь выдержка Марии Николаевны, ее ровная доброжелательность ко всем и спасли секстет.

А дней через десять воз, кажется, сдвинулся с места. Был разучен вальс «Березка».

— Жаль, что рояля у нас нет, — время от времени говорила Мария Николаевна. — С ним бы наш оркестр еще лучше звучал.

— Ничего, — всякий раз отзывался дед Паймук. — И без того городского не хуже.

В один из вечеров, когда репетиция уже закончилась и все собрались расходиться по домам, Мария Николаевна неожиданно предложила:

— А давайте-ка подготовим к Новому году небольшой концерт. Певец у нас есть, — посмотрела с улыбкой она на меня, — еще кто-то споет... кто-то стихи прочтет. Можно скетчи, интермедии всякие поставить. На многое не

будем замахиваться, но в меру наших возможностей... Попытаемся?

— Попытка не пытка,— сказал дед Паймук.— Кто пытался — журавля, говорят, поймал, а кто на печи лежал — и синицу упустил.

Настоящее наслаждение — слушать его, когда он говорит вот так.

— Давайте, подготовим концерт,— присоединился к деду Паймуку и я.— Здорово будет!

...Каждый вечер, как стемнеет, мы всем коллективом, который по-прежнему называется «секстетом», хотя теперь в нем уже больше десяти человек, собираемся в нашем классе. Порою посмотреть, как мы репетируем, заходит и директор школы. И сразу, как войдет, на лице его появляется какая-то растерянная, расслабленная улыбка.

А в классе звучат русские, звучат чувашские мелодии. Кажется, что, проникая через стены, они летят над нашей деревней, летят над полями, над лесами — все дальше и дальше, до самой Москвы, и за нее, туда, где наши отцы воюют с фашистами... И наши отцы слышат их, и, услышав, вспоминают о доме, и чувствуют, что их ждут...

### **8. Фельетон**

Мы начали в школе собирать подарки для фронтовиков. Девочки вяжут варежки, носки, вышивают носовые платки. Многие из мальчиков готовят домашнюю махорку — высушенную, мелко-мелко крошат ее.

Перед тем как отправлять подарки, мы решили пройти еще по домам. Может быть, кое-кто сможет что-то добавить.

Анюк отказалась взять свою улицу. Вместе с другими девчонками она пошла в Лешкасси. Мы остались вдвоем с Митрием.

— Ну и ничего, у нас и у двоих хватит сил,— сказал Митрий.— Не бойся.

— А чего? — удивился я.

И вот мы идем от дома к дому. И от дома к дому у нас тяжелеют, распухают наши торбы.

Некоторые дают орехи: «Пусть пощелкают. Родное село вспомнят, леса родные, поля...»

Тетка Кулине дала шыртан\*:

— Пусть попробуют. Пусть у них сила будет. К возвращению сына приготовлен был... Ничего. Я еще могу приготовить. Все мои сыновья, кто дерется с фашистами.

Так мы дошли до дома тетки Таись. Занавески на окнах были плотно, без единой щелочки, закрыты.

Дверь была заперта.

Я постучал.

— Кто там? Ты, Анюк? — слышался через некоторое время из-за двери голос тетки Таись.

— Это я, Алексей! — произнес я громко.

— Срочное дело какое? Анюк нет дома...

— Мне вы нужны, тетка Таись,— требовательным голосом сказал я.

Мгновение за дверью было молчание.

— Гости у меня...— отодвинула все же тетка Таись засов, приоткрыв дверь на узкую щель.

Я толчком открыл дверь до конца, схватил Митрия за руку и стремительно прошел вместе с ним в избу.

Я и ожидал увидеть что-нибудь вроде этого

---

\* Ш ы р т а н — национальное блюдо, приготовленное из баранины; может долго храниться.

и не ожидал. На столе стояла целая четверть самогона... В липовой глубокой чаше — пиво. Полная тарелка топленого масла, пироги, ватрушки, блины... А за столом — завхоз, кладовщик, заведующий фермами.

— Что так врываешься? — входя следом за нами, недовольно проговорила тетка Таись. — Да не один еще.

— Каким ветром занесло, пацаны? — громко, как хозяин, спросил завхоз.

— Мы собираем подарки для бойцов... — стесняясь, начал Митрий.

— Подарки? — переспросила тетка Таись и засуетилась. — Сейчас, сейчас...

Она дала нам первое попавшееся под руку — пару шерстяных носков. Чьи это были носки — мужа, отца Анюк?

Я вышел из дома тетки Таись весь клоко-чущий ненавистью к ней. Муж воюет на фронте, а она... Конечно, можно и гостей пригласить, ничего в этом нет плохого. Но кто у нее гости?! Сразу все ясно. И стол... В каком доме увидишь сейчас такой стол? Теперь ясно, почему Анюк отказалась от своей улицы. Как зайдешь с подругами на такой «праздник»?.. Мне хотелось вернуться к тетке Таись и опрокинуть весь этот их стол. Но не вернулся, сдержался, только заскрипел зубами от ярости.

— Ты что это вдруг умолк, будто воды в рот набрал? — спросил Митрий.

— Слушай, давай напишем о том, что видели, в редакцию, — неожиданно для самого себя сказал я.

Митрий ответил не сразу.

— Но ведь никто кроме нас их не видел. Мы напишем, а они потом...



— А чего бояться? — перебил я его. — Мы же комсомольцы! Люди на фронте жизни отдадут, а эти... колхозное добро растаскивают. Целая тарелка топленого масла чья, ты думаешь? Заведующего фермами. Самогон — от кладовщика. В прошлом году на собрании тридцать два пуда хлеба списали. Будто бы его влажным на хранение засыпали, и он сгорел. Из него-то вот и самогон.

— Ну что ж, если ты считаешь... Давай! — поддержал меня Митрий. — И настоящие свои фамилии поставим.

Через неделю по деревне гулял номер районной газеты.

— Давно бы так надо! — звучало повсюду.

— Хорошо их засекли!

— Молодцы ребята!..

Наконец газета попала и к нам. Мы с Митрием уединились у меня в доме, прочитали нашу заметку раз, другой... — все мало, хочется еще и еще! В редакции ей дали заголовок — «Руководители веселятся», а в скобках написали — «фельетон». В конце фельетона, внизу — наши фамилии.

В очередной раз Митрий решил прочесть заметку вслух. Он встал в позу и начал:

« — Кум Сидор, а кум Сидор! — кричит завхозу колхоза колхозный кладовщик Пахомов. — А ведь молодцы мы, а?! Не попроси мы Ивана Хаяха смастерить нам самогонный аппарат, не знать бы нам такого веселья!..

— Точно, точно! — отзывается завхоз. — Что такое, один пуд всего перевели — пустяки, а зелья-то сколько вышло... да крепенькое! — и, захмелевший, взмахивает руками, словно собираясь полететь.

Глядя на него, приподнял отяжелевшую голову и заведующий фермами Горбунов:

— З-за т-такую радость... и трех пудов не жалко.— Опрокинул в рот стопку и выпучил глаза: — З-закуску, з-закуску!

— Вон перед тобой масло-то стоит,— подсказал кум Сидор.

— А-а, да. Мое масло, я с фермы принес... надо есть,— проглотил заведующий ком масла. И привстал: — Спляшем, что ль?

Хозяйка дома Таись положила на пол печную заслонку.

— Эх, не сами, что ли, в колхозе хозяева?! Не грех и повеселиться.— И зачастила каблуками:

Туфли новые купила,  
Сами ноги рвутся в пляс.  
Самогонки пропустила,  
Приглашаю к пляске вас.

Пляшет хозяйка, поет, и вторит ей звяк подпрыгивающей на полу заслонки. И вот уж пустились в пляс и заведующий фермами с завхозом...

Вот какие дела творятся в колхозе «Вперед». Укрывшись за глухими занавесками, веселятся руководители. Не выйдет ли боком колхозу «Вперед» это веселье, не окажется ли он в хвосте, на последнем месте? «Пьяному и таракан на потолке слитком золота кажется» — так старики говорят. Как бы так-то, все слитки золота считая, не очнутся однажды, протрезвев, среди одних тараканов».

Митрий кончил читать и какое-то время стоял неподвижно, наслаждаясь.

— Здорово мы дали! — сказал он затем. Пришла с конюшни на ужин мать.

Я слазил в подпол и достал картошки. Мы все втроём сели на табуретки вокруг тазика с нею и стали чистить.

— Ну, и наделали вы делов, ребята, — сказала мать спустя некоторое время.

— А что такое? — прикидываясь ничего не понимающим, спросил Митрий.

— Ха! Они будто бы ни при чем!.. — покачала головой мать. — Горбунов ко мне прямо в конюшню пришел. Ох, орал! «За сыном совсем не смотришь, распустила!.. Яйцо курицу учить пошло...» Угрожал.

— Если кричит, значит, испугался, — сказал я. — А мы неправды никакой не писали. Там все так, как было.

— Наверно, так, — проговорила мать. — Да разве можно против стариков идти? Это ведь...

Митрий решительно перебил ее:

— Это не против стариков, а против вредителей.

Резкий, бескомпромиссный все-таки у него характер.

— Не рано ли себя взрослыми стали чувствовать? — сказала мать.

— Жизнь нас такими делает, — отозвался я.

— Жизнь, — вздохнула она. — Именно что жизнь...

На другой день по пути в школу у родника я встретил Анюк. Она была с коромыслом и ведрами.

— А ты что ж, — удивился я, — так поздно за водой пошла. В школу ведь пора уже.

Анюк отвела от меня глаза. И сказала, глядя в сторону:

— Мать, Алексей, все мои книги и тетради спрятала. Говорит, фельетон написать — я это

тебя попросила. Специально будто бы подо-  
слала тебя в тот вечер. Ругается. Очень ругает-  
ся. «В школе учишься — только мозги набек-  
рень становятся, возьму вот — и выдам за-  
муж...» Еще кричит: «Когда из бедняцкой кро-  
ви порядочный человек выходил!..»

Меня вновь, как тогда, когда мы с Мит-  
рием вышли из дома тетки Таись, обдало вол-  
ной ярости.

— Нашлась... богатой крови! — проговорил  
я. — Не бойся, напустим вот на нее Марию  
Николаевну... Саму еще ее замуж выдадим.

— Не говори так!.. — вскинула на меня гла-  
за Анюк. — Ведь она мне мать... Отца... отца,  
Алексей, понимаешь, жалко. Он там воюет...  
Написала бы ему обо всем, но как? Как воевать  
с такими известиями из дому?.. — Анюк опусти-  
ла голову и, закусив губу, видимо, сдерживая  
слезы, быстро подняла коромысло на плечо,  
пошла к своему дому.

И опять я стоял и смотрел ей вслед. И та-  
кое у меня творилось в душе... Ну что, что я  
могу сделать для нее, для Анюк? Поговорить  
с мамой, рассказать ей все?

Да, надо, наверное, так и сделать. Она  
обязательно что-нибудь посоветует, подскажет  
какой-нибудь выход.

### *9. В госпитале*

В канун Нового года в деревенском клубе  
состоялось крещение нашего секстета. Народу  
набилось в клуб — негде было упасть яблоку.  
С начала войны настоящие артисты приезжали  
к нам в деревню только один раз, да еще раза  
два крутили кино. Правда, в клубе довольно

часто проводят всякие собрания, но ведь собрания — это не концерт.

Секстет вышел на сцену, расселся, Мария Николаевна дала знак кивком головы — и в зале зазвучала народная чувашская мелодия «Шли мы с тобой через лес».

Люди слушали замерев.

А когда музыка кончилась, раздались такие аплодисменты, что, казалось, они сорвут крышу клуба.

— Ах, чертенята!.. — восторженно проговорил кто-то.

Ансамбль стал играть вальс «Березка». И опять в зале стояла тишина — будто не было в нем ни единого человека.

Потом Анюк прочла поэму Константина Симонова «Сын артиллериста». Сначала раза два от волнения она запнулась — все-таки впервые на сцене перед таким количеством народа. Но мало-помалу разошлась, видимо, перестала думать о своем волнении — и оно прошло. Женщины начали украдкой смахивать с глаз слезы. Кто-то, не удержавшись, заплакал навзрыд.

Когда Анюк кончила, зал не зааплодировал — все сидели в тяжелом, смявшем души оцепенении. Лишь через некоторое время раздалось несколько одиноких, негромких хлопков.

— Андреев, — прошептала мне Мария Николаевна, — нужно разрядить атмосферу. Пой что-нибудь веселое.

— Хорошо, — сказал я и вышел на сцену.

Снова заиграла музыка. У деда Паймука пальцы так и пляшут по струнам. Мария Николаевна кивком головы дала мне знак — вступай. Я запел:

Русый я, и русая ты,  
Но светлее нас вот эти цветы.  
Черные брови у обоих у нас,  
Но смородина чернее нас в несколько раз.  
Вертяв я, как шило, а ты-то уж как!  
Но вертявей медянки не отыщешь никак.  
Болтлив я — признаюсь, а ты — не совру,  
Но болтливее листья осин на ветру...

Прикрывая рты концами платков, женщины начали смеяться. Что говорить, нужна она людям, шутка. Горе горем, но невозможно все время ходить с опущенной головой...

Концерт наш прошел с большим успехом. Наверное, как пишут в газетах, были у нас и недостатки, но ни мы сами, оглушенные сценой, ни простодушные, благодарные наши зрители их не заметили.

Потом мы дважды побывали с концертами в соседних селах. И прием тоже был горячим.

Перед Днем Красной Армии Мария Николаевна собрала весь наш секстет снова.

— Друзья мои, — сказала она. — Есть предложение. Рядом с нами, в Канаше, расположен госпиталь. Кто там лежит, вы понимаете: бойцы, раненные на фронте. Давайте сходим с концертом и к ним. Гостинцев захватим.

— Неудобно как-то, в госпиталь прямо, — протянула Хветусь.

— А чего неудобного? — прервал ее Митрий. — Это, может, артистам в госпитале неудобно. А мы ж не артисты.

— Как это не артисты?! — воскликнула Мария Николаевна. — Ничего подобного. Именно артисты. Только самодеятельные.

— Ну уж, это слишком, Мария Николаевна, — застенчиво произнесла Анюк. — Какие мы артисты...

Мария Николаевна улыбнулась.

— Ничего не слишком, Анюк. А настоящие артисты откуда берутся? Из самодеятельности. Сразу никто мастером не рождается. Мастерство, его нарабатывать надо. Оно трудом и одним только трудом достигается. Вот оглянитесь-ка, вспомните себя девять лет назад: ни одной буквы не знали, а теперь вон какие теоремы по математике доказываете!

— Это так,— подтвердил дед Паймук.— Чтобы коса косить могла, ее править надо, да все время.

...Госпиталь был забит ранеными. Он размещался в двухэтажном каменном доме с широкими коридорами, и в этих коридорах вдоль стен вплиты друг к другу тоже стояли кровати.

Мы принесли с собой, как и собирались, гостинцы: масло, молоко, квашеную капусту, ватрушки, махорку в вышитых кисетах...

Дед Паймук хотел даже прихватить жбан пива, но Мария Николаевна не разрешила.

Концерт мы давали в красном уголке. На одной из стен его висела карта Советского Союза. Линия фронта была обозначена на ней маленькими красными флажками. У Сталинграда флажки образовали кольцо.

— Капут, значит, здесь фашисту! — глядя на карту, во весь голос сказал дед Паймук.

Раненые по одному, по двое тянулись к красному уголку. Комната быстро заполнялась. Кто был на костылях, у кого висела на перевязи рука, у кого, как упрятана в шлем, забинтована голова.

Стульев на всех не хватило, сидели на подоконниках, кто мог — стоял, а так как таких

набралось немало, то стояли плотной толпой даже в дверях.

Мы начали концерт.

И сразу же секстету пришлось повторить «Шли мы с тобой через лес» на «бис». А когда раненые аплодировали, я заметил двух сидевших рядом солдат, у которых на двоих было две здоровых руки. У того, что сидел слева от «сцены», одна рука была в гипсе и подвешена на полотенце, у другого руки, видимо, не было совсем. И вот они аплодировали вместе — ладонь одного била о ладонь другого. И невозможно смотреть без улыбки, и страшно, а главное все же при взгляде на них — ощущение силы, эти двое, раненных, покалеченных, не сдались, не пали духом.

Анюк снова читала «Сын артиллериста». Когда она кончила, сидевший в первом ряду от сцены пожилой, с седой бородой солдат заплакал. Ясно, что плакал он не от ран, а от разбередивших сердце воспоминаний. Что ему вспомнилось? Его семья, дети? Может быть, его дом сейчас под фашистами? Или у него есть сын, так похожий на Леньку из поэмы? Анюк, «виноватая» в слезах солдата, не выдержала, подошла к нему и стала успокаивать, что-то говоря вполголоса и глядя его по плечу. Ох, война, война!..

— Браток! — не выдержал и дед Паймук. — Не печалься-ка. Вот послушай, я тебе чувашскую веселую песню спою. Как маслом по сердцу помажет. Слушай.

Зазвенели гусли. Дед Паймук запел:

Посеял я семьдесят зерен —  
Не спеша.  
Семьдесят зерен собрал —



Не спеша.  
На гумне копну сложил  
Не спеша.  
Двенадцать дней молотил  
Не спеша.

На лицах раненых заиграли улыбки. Словно пробился сквозь тучи и упал в комнату яркий солнечный луч.

После концерта раненые долго не отпускали нас, благодарили и за сам концерт, и за подарки, с жадностью расспрашивали о нашей жизни. А тот пожилой солдат попросил адреса у Анюк и деда Паймука.

— Записывайте. А адрес у нас один, из одной деревни мы,— сказал дед Паймук.— Наладится переписка — рад буду. Такое время — хоть словом, если другой возможности нет, надо друг друга поддерживать. Вы нам сообщайте о своем житье-бытье, мы вам.

А Анюк, куда только делась ее обычная застенчивость, проговорила громко:

— Мы хотим, товарищи раненные бойцы, чтобы вы знали: вы там, на фронте, не жалейте крови, а мы здесь, в тылу, делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить разгром врага. Мы помогаем колхозу, нашим матерям, учимся так, чтобы быть потом как можно полезнее стране... не сомневайтесь!

Слова ее прозвучали в наступившей тишине как клятва.

Мы вышли из госпиталя уже после захода солнца.

В почтовый ящик на столбе я бросил написанное на подоконнике красного уголка час назад заявление, адресованное в районный военный комиссариат.

10. Письмо  
сына Ахванесья

— Фельдмаршал Гитлера Паулюс сам, говорят, вышел к нашим с белым флагом...

— Теперь вышел, людоед!

— Пишут, будто больше двухсот тысяч этих фашистов-то в плен взяли?

— Не зря, не зря, наши слезы лились...

Вот такие речи слышишь, идя по деревне. Победа под Сталинградом будто влила в каждого новые силы. Давно, ох, давно ждали люди чего-либо подобного. Дождались.

Женщины снова, что не делали всю зиму, начали похаживать друг к другу. И разговоры все у них сделались веселее. Вот и мать моя — чистит картошку и песню напевает. Тыщу уж лет не слышал, чтобы она пела.

А что будет, когда победят Гитлера? Эх, и будет же народ радоваться!.. Скорее бы он, этот день.

Дело в природе идет к весне. Оттепели, солнце днем. Уже и 8 Марта отпраздновали. И у нас в школе, и в клубе прошли торжественные собрания.

В одно прекрасное утро, когда я шел в школу, меня от своих ворот окликнул почтальон Ахванесь:

— Эй, Алексей, сынок! Подь-ка сюда.

И, как всякий раз, когда видел Ахванесья, я подумал, почему же мне до сих пор нет никакого ответа из военкомата.

В руках Ахванесь держал какие-то листы. Сердце у меня екнуло: ответ?

Я подошел. Нет, едва ли это было письмо из военкомата. Ахванесь держал в руках исписан-

ный карандашом обмусоленный тетрадный листок и какую-то газету.

— Прочти-ка, Алюш! — сказал почтальон. — Читай! Сын ведь нашелся.

Вон оно что! Я взял листок и стал читать: «Незабвенные мои — отец и мать!

Долго я не мог вам написать. Не было возможности. Полк наш при отступлении оказался в окружении, и мы не смогли пробиться к своим. Пришлось нам остаться в тылу врага. Стали мы партизанами. Теперь уже все позади, мы соединились с нашей победоносной армией. Теперь мы снова можем переписываться друг с другом.

Отец, я буду мстить врагу за все беды, которые он обрушил на нас. Где ни встречу, там и получит он мой свинец. Мы будем бить его до тех пор, пока не добьем в его собственном логове.

Много о себе самом мне писать неудобно. Я пошлю лучше газету. Там все написано. Читайте. Я честь вашего рода не уронил.

*С приветом — ваш сын Энтри.*

— И газету прочти-ка, — попросил Ахванесь. — На русском языке, не очень я понимаю...

Я взял газету и стал читать, сразу же переводя на чувашский:

«Гитлеровские собаки вошли и в земли Смоленщины. Ольга Пескарева с шестью своими детьми жила в небольшой деревне Н.

В тот день они вышли копать картошку. И вдруг среди ботвы заметили людей в военном обмундировании и пилотках с красной звездой. Ольга не удивилась: в деревне довольно часто появлялись советские солдаты, пробиравшие-

ся из окружения к линии фронта — вокруг деревни леса.

Она пригласила солдат в избу — накормить их, снабдить провизией на дорогу.

— Немцев нет в деревне? — спросил один из красноармейцев.

— Были, — сказала женщина. — Сейчас ушли.

Спросивший вышел и через некоторое время вернулся еще с тремя бойцами.

— Это наши товарищи, — сказал он. Он, как поняла Ольга, был старший.

Ольга посоветовала красноармейцам задержаться, переночевать у нее — набраться сил и утром уж идти.

Старший согласился.

— Но лучше бы разделиться, — сказал он. — Мы вот, — показал он на товарища, который и прежде был с ним, — остались бы у вас, а трое пошли в другой дом. Это и вам безопаснее, и нам.

Так и сделали.

Вечером, перед тем, как укладываться спать, старший отозвал Ольгу в сторону.

— Вот что, — прошептал он. — Нам еще идти и идти, кто знает, как что обернется... Я комиссар полка. С нами — знамя полка. Мы бы хотели попросить вас спрятать его и сберечь.

Тысячи мыслей промелькнули в голове Ольги. Немцы ходят по домам и объявляют: у кого имеется оружие и военное обмундирование, немедленно сдать в комендатуру. Кто не сдаст — расстрел. А если знамя найдут?.. Что тогда с детьми будет?.. — У нее мороз пробежал по коже.

И все же Ольга спросила после молчания:

— Где знамя?

Утром тихо-тихо красноармейцы ушли из деревни.

А днем снова нагрянули немцы.

Ольга Пескарева была беременна. Она решила, что беременную женщину не тронут, не будут обыскивать, и обмотала знамя вокруг себя. Ее и вправду не тронули. Потом, когда стало поспокойнее, храбрая женщина вырыла яму в огороде и спрятала знамя в нее.

Трудная была жизнь у этой многодетной женщины во время оккупации. Но все сдюжила Ольга Пескарева.

В начале марта деревня, в которой жила Ольга Пескарева, была освобождена нашей доблестной армией.

Два воина Советской армии — комиссар полка Попов и его товарищ, рядовой Андрей Афанасьев — разыскали Ольгу.

Горячей была встреча. Генерал армии наградил Ольгу Пескареву медалью «За боевые заслуги»...

— Ну, что?! — закричал Ахванесь, когда я кончил читать. — Боевой парень мой Энтри? Знамя полка сумели сохранить. И женщина какая отважная!.. Разущу ее адрес, приглашу вместе с детьми в гости. Пусть приедут, порадуются. И природа у нас здесь красивая... И корова у меня есть. А дети-то еще, поди, маленькие, им молока надо... — Ахванесь кричал это во все горло, радость так и выпирала из него.

Новость, что у Ахванесе нашелся его пропавший было без вести сын, распространилась по деревне в течение одного утра.

И все, у кого кто-либо пропал без вести,

приободрились от этой новости, она вдохнула в уставшие сердца надежду. Трудно смириться с мыслью, что близкий тебе, дорогой человек навсегда исчез из твоей жизни, что никогда больше не ступит его нога по земле. Человек не может жить в мире один, он связан с другими людьми тысячами нитей, и обрыв каждой из них — величайшая боль и мучение.

### ***11. Трудный разговор***

Та наша встреча с Анюк у колодца после появления фельетона все не идет у меня из головы. Несколько раз я порывался заговорить с матерью об этом, и ничего не получалось — мешала стеснительность. Пугало, что как бы сразу приоткроется завеса над моей душой. «Чего это он об Анюк печется?» — подумает мать.

Но поговорить все-таки мне было нужно. И я в конце-концов решился. Тем более что пришел наконец и ответ из военкомата, и об этом тоже нужно было говорить.

— Да, сынок... — после некоторого молчания вздохнула мать, когда я рассказал ей, как ругала тетка Таись свою родную дочь: «Из бедняцкой крови... Замуж выдам...» — Да, вот и повзрослел ты... в самом деле. Дед Паймук верно приговаривает: «Не годы взрослят, а труд». А ты уж сам на хлеб зарабатываешь... Можно, значит, и поговорить с тобой как со взрослым... «Бедняцкая кровь», значит? Понятно... Та еще, выходит, у Таись закваска, та... Отец у нее богатый ведь был. Тимуш, отец

Анюк, батраком у них работал. А Таись с сыном мельника дружила, бывшим офицером. В деревне поговаривали, поженятся, мол. Да как коллективизации начинаться, сгинул он, сын мельника. Ну, а коллективизация — своим чередом... Таись тогда всю деревню удивила, кто ее только и надоумил. При всем народе вывела из отцовского дома коня, корову, несколько овец и объявила: «Вот мой взнос в колхоз. И за Тимуша замуж выхожу. В отцовском доме росла — свету белого не видела. Родную дочь ни во что не ставил, хуже всякой батрачки была, только что из корыта, как свинья какая, не ела». А Тимуш что, Тимуш тихий был человек, да без кола без двора, а тут за него такая красавица идет. Таись ведь ох, какой красавицей была. И фигурой вышла, и лицом. И сейчас вон — дашь ей разве ее годы?.. Ну, отца ее раскулачили, выслали. И мельника тоже. Таись, когда их отправляли, с отцом-матерью даже попрощаться не вышла. Нет, не вышла. Люди тогда и заговорили: «И вправду, видать, всю душу они ей вынули...» Пошла жизнь своим чередом. Тимуш всю жизнь при лошадях был, его при колхозном табуне старшим конюхом поставили. Работал он — одно доброе только и можно сказать о нем. Всю душу вкладывал. И сына мельника поймал. Тот конюшню поджигать собирался — керосином ее поливал. По-разному тогда говорили люди. Слух был, будто сын-то мельника никуда и не уходил из деревни, а Таись его прятала. Но он на суде все на себя взял. Сказал: «Ненавижу вас!» Та еще была история... А года через полтора Таись родила дочь — Анюк. Ох, и радовался

же Тимуш. Все ведь с дочкой-то он возился, не Таись. Только для дочки и жил. Но Анюк не неженкой выросла, сам знаешь. Хорошая она девочка. Душа у нее добрая. В отца знать... — Мать остановилась, не то задумавшись, не то передыхая. Потом сказала: — Дай бог, чтобы Тимуш живым-здоровым вернулся. Дай бог... — Слово «бог» у нее — как присловье, в бога она не верит, она говорит: «Бог — он в нас. Бог — это чистоплотная, порядочная жизнь, не запятнанная ничем честью». — Про Таись уж в деревне судачат. Кто, может, и завидует: в достатке все же живет... лишь бы Тимуш не узнал. Таись-то, может, и живет с ним только для виду...

— Как это «для виду?» — опешил я. — Разве можно так жить с человеком.

— Можно, сынок... Замужем она — так вроде порядочная, муж у нее, видишь, на фронте, родину защищает. Уважение ей...

— Но... но это ведь ужасно, мама! — с трудом выговорил я.

— Да, сынок, так это. Но что поделаешь... А Анюк сама в свою пору решит, как ей жить, что делать. Думаю, правильно решит, коль человек она правильный...

Мать поднялась со своего места. Пошла к очагу. Сегодня ей больше нечего делать у него, но она что-то передвигает, что-то вытирает... Решила, значит, что достаточно, хватит о тетке Таись.

Но мне-то ведь нужно поговорить с ней и кое о чем другом. Ведь даже не просто ответ пришел мне из военкомата, а я уже прошел и комиссию...

— Мама... — позвал я ее. Так тихо у меня



это выговорилось — не услышал собственного голоса. — Мама... ты только не сердись...

— Что такое? — повернулась мать в волнении.

— Ничего не случилось.

— А что же тогда? Ну, говори, не томи.

— Отцу я уже написал, — начал я почему-то совсем не с того конца. — Он мне вот что ответил... — Достал из кармана адресованное мне отцовское письмо и зачитал: «Алексей, сынок! Ты уже не ребенок, ты уже большой... И такие вопросы можешь уже решать самостоятельно. Речь идет о защите Родины. А кто может идти против самых святых чувств человека? Ведь мы все — дети ее, а она нам — мать...»

— Что ты задумал, Алеш? — губы у матери дрожали.

— Mam, не волнуйся. — Я зачем-то стал сворачивать отцовское письмо во много-много слоев. — Я еду учиться в военное училище. Жду сейчас повестку.

Мать тяжело осела на лавку. Она сидела и молчала, глядя куда-то в одну точку, потом из глаз у нее потекли слезы, и она проговорила сквозь них:

— Что ж, сынок... пусть, как сказал отец, так и будет. Пусть. Коль он не против, благословляю... Ты не ругай меня, что я плачу. Я сейчас должна выплакаться, чтобы потом, на проводах, люди моих слез не видели...

— Мама, мама... — гладил я ее по плечу, пытаюсь успокоить.

— Ничего, Алеш, — постаралась она улыбнуться. — Не останавливай моих слез, не надо... Пусть отойдет душа.

Прошла минута, другая, третья, и мать поднялась с лавки.

— Алюш, — сказала она обычным своим голосом. — Принеси-ка дров. Будем печь топить. Сделаем праздничное жаркое в честь твоей новости.

— Ага, мам! — радостно ответил я, схватил шапку, вылетел в сени и кубарем скатился с крыльца.

Сладко же оно, материнское благословение...

## ***12. До свидания, родная деревня***

В нашем классе вечер проводов.

Провожают меня — я получил повестку и завтра уезжаю в военное училище.

Секстет играет вальс. Мы танцуем.

Я танцую с Анюк.

Кружась, она шепчет мне на ухо:

— Пиши мне, пожалуйста. Может, и я за тобой... В Канаше открываются курсы медсестер. Схожу узнаю — и поступлю, может...

— Сначала школу закончи, — отвечаю я ей.

— После войны. Когда отец вернется.

— Силком тебя не заставить, конечно...

Делай так, как считаешь нужным.

— Спасибо. С кем теперь без тебя отведешь душу... Только с тобой я могла так...

— Приходи к моей маме.

— Ой, неудобно...

— Что ты! Мама у меня чудная. Добрая.

— Наверное. Но все-таки...

— Приходи, не стесняйся. В школу тебе присылать письма — неловко. Домой к тебе — ты, может, и не получишь его. А я в конверт

вместе с письмом к маме вложу письмо к тебе: «Для Анюк». Ты придешь к ней, она тебе и передаст его.

— Ой, разве можно так? — Анюк даже спотыкается. — Мать твоя скажет: стыда эта девчонка не знает...

— Никогда она так не скажет. Мы теперь взрослые... Мама все понимает. Я уже даже намекнул ей, что буду присылать для тебя...

— И что она?

— Улыбнулась.

Анюк опускает голову и утыкается в мое плечо. Я чувствую на нем ее теплое нежное дыхание. И от этого ее теплого дыхания меня всего обдает теплой волной нежности к ней, мне хочется танцевать, взяв Анюк на руки... но мы в классе. И все-таки когда-нибудь я обязательно исполню свое желание. Обязательно!

Вальс кончается. Парни и девушки, отняв друг от друга руки, расходятся в разные стороны.

— Эх, только бы жить да радоваться вам! — с горечью произносит дед Паймук. — Проклятый фашист... Отруби ему его фашистскую голову, Алюш, и возвращайся. Я в тебя, сынок, верю.

— Постараюсь, — говорю я. — И спасибо за добрые слова.

— Это не просто добрые слова, — отвечает дед Паймук. — Это мое благословение.

— И наше, — присоединяется к нему Мария Николаевна. — Я надеялась, к выпуску нашего класса война закончится и никого из вас она не тронет. Но нет, вот завтра мы провожаем тебя, Алексей... Возвращайся живым-здоровым, победителем возвращайся.

К горлу у меня подкатывается комок. Как оно трудно, оказывается, прощание... Ведь столько лет мы учились вместе, с моими друзьями-товарищами, столько нас всякого связывает... Я с трудом проглатываю комок и говорю:

— Спасибо... спасибо за все, друзья...—  
И прошу деда Паймука: — Дед, Паймук, сыграй что-нибудь чувашское.

— С удовольствием! — воскликнул дед Паймук, и в классной комнате зазвенел веселый чистый голос гуслей. Дед Паймук запел своим сипловатым стариковским голосом:

Коли сядем мы над речкой,  
Словим рыбы сто пудов.  
Коли выйдем из-за печки —  
Спляшем так, что будь здоров.

И хоть сипел его голос, хоть и не мог он тянуть, но так лихо, так зажигательно он пропел свою частушку, что все разом оживились, запересмеивались, и вот уж девушки, хлопая в такт ладошами, подхватили:

Что полы у вас дубовы?  
Спляшем — стекла задрожат.  
Или, может быть, еловы?  
Ох, тогда не выдержи-ат!..

— Молодцом, молодежь! — крикнул дед Паймук и снова запел, отвечая:

Пол еловый, ну а балка —  
Дуб мореный, крепкий дуб.  
Богатырь сломать решил бы —  
Надорвал бы только пуп.

Ох, эти припевки! Ноги сами ходуном ходят, просятся в пляс, нет сил удержаться!

Я выскочил в круг, притопнул ногой, прошелся вприсядку и подлетел к группе девочек, вызывая их на перепляс.

А дед Паймук играл и пел, сочиняя:

Ну, а фриц, он, гад ползучий,  
Не умеет так плясать.  
От него лишь дух вонючий —  
Потому что любит жрать...

На следующий день проводить меня до околицы пошел весь класс.

По старинному обычаю я взял в руки стакан с пивом. Выпил до дна и бросил его вверх.

Мой братишка сорвался с места и побежал за стаканом. Через минуту он вернулся — стакан был цел.

— Так же, как у отца, — сказал дед Паймук, показывая стакан матери.

— Дай бог... — проговорила мать.

Мария Николаевна произнесла небольшую речь, пожелала мне доброго пути.

И хотя все эти слова были повторением вчерашних, они вновь отозвались во мне благодарностью и наполнили грудь торжественным чувством.

— Друзья! — сказал я. — Когда мы с отцом перед его отправкой на фронт ночевали на площади перед военкоматом, где-то был пожар или что-то жгли, небо на горизонте было багровым, и отец увидел у меня в глазах отсвет того огня. И он мне сказал: «Это всегда так бывает. Если где-то горит большой огонь, какой бы человек ни был, большой или маленький, и где бы он ни находился, близко от того огня или далеко, на глаза ему обязательно падает отсвет пламени...»

— Умно, ай, умно сказал твой отец! — покачал головой дед Паймук.

Я продолжал:

— Отец сравнил войну с таким огнем. Я еду

помогать тысячам других людей гасить этот огонь, чтобы отсвет его исчез из наших глаз. Думаю, мы сможем погасить его. Пусть в мире будут только огни домашних очагов и мирного труда.

Откуда они взялись, всё эти слова во мне? Как я смог говорить так? Не знаю. Но смог.

Пора прощаться. Я подал каждому руку. К последней, перед мамой, подошел к Анюк.

Рука у нее была в бугорках мозолей у основания пальцев и теплая. В той, предстоящей, неизвестной мне пока жизни я буду вспоминать это тепло ее руки...

— Алексей, береги себя! Для нас, для меня береги, — глядя мне в глаза, сказала мама.

— Я постараюсь... хорошо. Спасибо, мама!..

— Садись давай, — велел дед Паймук. Он провожал меня до Канаша.

Я подпрыгнул и уселся на подводе. Дед Паймук хлестнул лошадь кнутом:

— Но-о, побежали! — И проговорил затем: — Пока границу наших земель не передем, не оглядываться.

Сам он тоже не оглядывался, сидел и смотрел только вперед.

Так мы ехали некоторое время, потом я почувствовал, что не могу не оглянуться.

— Не могу удержаться, дед Паймук, — сказал я. — Эта ведь примета когда родилась? Когда в солдаты царской армии уходили... А сейчас Советская власть. Я хочу нарушить традицию, дед Паймук!

Дед Паймук мгновение молчал.

— Как знаешь, — сказал он наконец.

Я повернулся.

Провожавшие уже разошлись. Не было вид-

но и матери. Лишь одна Анюк, одетая в белое платье, смотрела еще нам вслед. Я привстал в повозке и закричал:

— Анюк! До свидания, Анюк!

Она, видимо, услышала мой голос, вскинула вверх руку — в ней затрепетало на ветру что-то белое, наверно, носовой платок. Так она и стояла — белая фигурка на дороге и белый трепещущий комок на отлете в воздухе, — пока ее, вместе с деревней, не скрыл срез земли.

— До скорого свидания, родная деревня, — произнес я вслух.

Дед Паймук повернулся ко мне.

— Ах, чертенок, — проговорил он не то с обидой, не то с укором. — Ничего не боится... А вдруг не вернешься?

— Обязательно вернусь! — сказал я, сядя лицом к дороге.

— Дай бог. Дай бог... Будем ждать. — Дед Паймук натянул вожжи, и лошадь пошла крупной ровной рысью.

Дорога  
к невесте сына

1

Что бы вы, интересно, сказали, встретиться вам тетка Василиса — ну, а по паспорту, естественно, Василиса Егоровна Альдеева — где-нибудь в толкучке автобуса или на пыльной проселочной дороге с корзиной грибов в руках, — что она за человек? Ничего бы наверное: тетка как тетка, самая обыкновенная. Но с другой стороны, что это значит — самая обыкновенная? Такие все разные, люди. Одна тоже самая обыкновенная, а дня не проживет без свежей сплетни, это как хлеб и вода для нее — суды-пересуды всякие; другая от того только и счастлива бывает, что удачно продала на рынке яйца или там ягоды, набила кошелек — вот тогда день для нее прошел удачно...

Но тетка Василиса не такая, нет. Я вам об этом говорю со всей ответственностью. Всю свою жизнь она проработала в колхозе. Пахала, сеяла, косила, убирала хлеб, молотила. Нелегко крестьянский труд... Но уж когда хватила Василиса лиха — это в годы войны. Муж Василисы тогда ушел на фронт, а ее односельчане выбрали бригадиром вместо него.

И сейчас дух перехватывает, как вспомнишь те годы. От севера до юга топтали родную землю немецкие сапоги. В деревне из мужчин остались только старики да увечные-



калечные. Они да женщины и тянули воз — пахали любимые до боли, знакомые с детства поля, сеяли, убирали хлеб, молотили. Людей не хватало, и молотья в ту пору растягивалась на всю осень и даже зиму.

И по сию пору стоит у тетки Василисы перед глазами картина: жидкий голубоватый свет луны, грохот молотилки, и возле черного зева барабана — Марук. Почти неделю стоит она у барабана. Никто Марук не заставляет становиться на опасное место — душа ее требует этого. Днем сбегает домой, сготовит поесть ребятишкам — и снова к молотилке, снова впрягается в работу. Натерпелись тогда женщины...

И вот тот случай. Марук бросала и бросала снопы в черный зев барабана, один за другим исчезали они в грохочущем чреве молотилки, и вдруг, перекрывая этот грохот, стук тракторного дизеля, раздался жуткий, срывающийся в визг крик. Кто-то догадался тут же выключить трактор, кто-то схватил фонарь, и когда свет упал на Марук, все увидели, что левая ее рука висит как тряпка, и на снег из нее капает, оставляя черные следы, черная кровь. Оказывается, так выглядит кровь ночью.

Все сбились вокруг Марук и молчали, никто не мог сказать ни слова. Такая похоронная опустилась вдруг на гумно тишина, словно и не было на нем всего лишь несколько секунд назад ритмичного трудового шума — голосов, механизмов...

Первой эту тишину прервала Уксюк:

— О-ой, боже ты мо-ой!.. На фронте мужья кровь проливают, здесь мы кровь пролива-

ае-ем!.. — действительно, как над покойником запричитала она.

Только тогда, видно, поняла, что произошло, и сама Марук.

— Что реветь,— сказала она.— Какой толк от слез. Есть у кого-нибудь чем мне перевязать руку?

Кто-то из женщин рванул подол платья, у кого-то нашелся белый платок — перевязали ей руку.

— Марук! Садись. Садись и сиди, береги силы,— приказала Василиса Егоровна.— Отправим кого-нибудь сейчас за медсестрой. А ты, Уксюк, чем слезы лить, живо на конюшню, пусть конюх запрягает самую крепкую лошадь — повезет Марук с медсестрой в районную больницу.

Уксюк вытерла глаза тыльной стороной руки, кивнула:

— Хорошо.

И побежала в село.

Бог знает, сколько времени прошло, пока наконец усадили Марук с прибежавшей медсестрой в подъехавшие розвальни,— целая вечность.

— Но-о, пѣехали! — дернул вожжи старик конюх.

И снова на гумне наступила та же похоронная тишина, и были слышны в ней только хруст снега под копытами удаляющейся лошади и скрип полозьев по укатанному санному пути. Потом исчезли и эти звуки, все смолкло.

Что делать, как поступать старшему над людьми в таких ситуациях? До нынешнего дня Василисе Егоровне не приходилось решать подобных вопросов. И сама она была растеряна

и напугана не меньше других. Когда при свете фонаря увидела капающую из раны Марук черную кровь, ее стало бить как в лихорадке и не отпускало до сих пор — так и трясло...

Но ведь нельзя же, нельзя опускать руки — не столь уж часто выпадают зимой светлые лунные ночи.

— Женщины... родные! — выдохнула Василиса Егоровна. И не узнала свой голос — будто не она говорила, а рассохшееся дерево. — У барабана... у барабана я встану сама. И... и продолжим работу.

Женщины переглянулись и в полном молчании разошлись по гумну, по своим рабочим местам.

Взревев, застучал трактор.

Шуток и разговоров в эту ночь больше не было...

Через неделю Василиса Егоровна сумела выбраться в район, в больницу к Марук.

Может быть, оттого, что были белыми стены палаты, показалась ей бледной Марук? Они вышли в коридор, сели на лавку, а разговор не шел — колом стояли в горле у Василисы Егоровны все слова. То же видно было и с Марук... но все же мало-помалу разговорились. Василиса Егоровна рассказала Марук, как у нее дома, что ребятишки ее сыты-здоровы, мать Марук, хоть и через силу, а успевает по хозяйству. Все у нее в порядке дома, у Марук... И потом уже лишь Василиса Егоровна достала из кармана треугольничек фронтального письма.

— Вот, мать тебе передала — только что пришло.

Долго читала Марук письмо мужа. Потом сказала:

— Сам Иван пишет... Его почерк...

И ни слова больше не смогла выговорить — заплакала.

— Ну, Марук, не надо, Марук... — гладила ее по плечу Василиса Егоровна. — Не надо... Все ведь в порядке у него?

Марук взглянула ей в глаза, попыталась улыбнуться, но улыбка вышла дерганая и кривая.

— Да, Василиса... Все хорошо, все в порядке. — Здоровой рукой поправила платок на голове, судорожно вздохнула. — Врачи говорят, и у меня все будет в порядке... Ох, натерпелась же я!.. Ведь три с лишним часа укладывали мои косточки. Вот еще муж вернется с войны одноногим — будет тогда семейка... — попробовала она пошутить. — Но пока, Василиса, не хотелось бы ему сообщать... об увечье-то моем. Передай ребятишкам, будут писать отцу — об этом пусть не пишут. Что его там, на фронте, тревожить понапрасну... Вернется, так правая рука — обнимать его — у меня здоровая! — с затаенной улыбкой посмотрела она куда-то в окно.

И глядя на эту ее улыбку, Василиса Егоровна почувствовала, что и у нее на душе становится легче.

— Хорошо, Марук. Как ты велела, так все и передам твоим ребятишкам, — тоже с улыбкой сказала она.

— Ребятишки у меня послушные. Если попрошу — всегда все выполнят... А вы там дайте, уж и за меня поработайте, пока я здесь. На заводах вон клятву дают: выполним норму

наших товарищей, ушедших на фронт. Делать-то тут нечего, так я все газеты, какие есть, читаю.— Марук переборола свою боль, говорила спокойно и деловито.

— Обещаю тебе это, Марук,— твердо ответила ей Василиса Егоровна.— Мы, крестьяне, те же ведь рабочие, только на земле.

Марук поднялась с лавки.

— А теперь ступай, Василиса. Дел-то ведь у тебя сколько — полно! Всем нашим бабам привет от меня. Скажи, все в порядке. Через недельку, скажи, выпишут, и вернется Марук...

Они крепко, не по-женски пожали друг другу руки и, ни слова больше не говоря, разошлись: Марук в палату, Василиса Егоровна на улицу...

Ох, какое было время!.. И сталь, и камень, и сама земля горели. А душа человеческая в этом огне только закалялась. Сгорающая, возрождалась из пепла, как птица Феникс, крепче становилась в этом огне и тверже.

У тетки Василисы у самой в ту пору было в доме четверо, мал мала меньше. Спасибо, старшему, Павлу,—помощником рос, все по дому делал, только хлеб печь не умел.

— Мама, Пашка жаркое лучше тебя готовит,—говорили младшие.

Может, и вправду лучше. С работы придешь — как мочалка выжатая. Приберешься по дому, по хозяйству помотаешься, поужинаешь — и все, сами собой слипаются глаза в теплой избе.

Павел подойдет, обнимет ласково:

— Ложись, мама. Отдыхай, не мучай себя.

Мы сами все, что надо, доделаем. Нас ведь четверо.

И ложилась. Камнем в сон проваливалась. А уж чуть свет — вновь на ногах, до самого вечера.

Война она без милосердия — всем полной мерой до талась: и взрослым, и детям.

Иногда серчала на судьбу Василиса Егоровна, что из четверых детей — ни одной у нее девочки, все мальчишки. Но когда видела, как спорится у них в руках любая работа, как ловко они управляют по хозяйству, сердце успокаивалось. Мальчик или девочка — какая разница, если растет ласковым да трудолюбивым. Не зря ведь говорят в народе: «Дерево от плодов, а человек от дела познается». А народ зря слова не скажет.

— Мам, смотри, как я тонко чищу картошку, — радуясь своему умению, счастливо говорил, бывало, Аркадий.

— А это значит, у твоей жены губы будут тонкие, — подшучивал над ним Кируш.

— Как пряслень\* тонкие, да? — не понимал шутки самый младший, Андрей.

Смех разберет смотреть на них в такие минуты. Счастливый смех — сладко материнскому сердцу видеть, какими славными растут твои дети.

Трудная была пора. Но вот ведь странно: без горечи вспоминаешь сейчас — с печалью светлой.

Были, конечно, минуты душевного отчаяния, безысходных слез. Их не забыть, они навек

---

\* П р я с л е н ь — металлический или глиняный кружок с дыркой, надеваемый на веретено для веса.

впечатаны в сердце. Но сейчас, по истечении времени, кажется понимаешь, что именно в эти минуты и проверялась твердость твоей души. Выплачешься — полегчает чуток на сердце, и снова, сцепив зубы, живешь дальше.

Все сохранилось в памяти: и хорошее, и плохое. Сохранилось, чтобы дети знали обо всем этом, чтобы память их родителей передалась их детям...

Муж Василисы — Артикка — вернулся с войны живым-здоровым, с руками-ногами. Правда, все тело в шрамах, ну да под одеждой их не видно — только когда в бане разденется или пойдет на пруд купаться.

— Э, горевать, что шкура попорчена?! Главное, голова цела! — отшучивался на сочувственные расспросы односельчан Артикка.

Кажется, с ума сойти от счастья могла Василиса, когда вернулся Артикка. Что говорить: семьдесят мужчин ушло из села на фронт, а вернулось семнадцать. Да кто без ноги, кто без руки, у кого все тело штопано-перештопано, от былой силы только огрызки остались. Один из вернувшихся до сих пор носит в кармане пулю, вырезанную у него из икры. Когда, случается, соберутся мужчины компанией и разговор, как всегда, рано или поздно, свернет на войну, он обязательно извлечет эту пулю из кармана.

— Вот! — говорит он. — Это первый свинец, вынутый из моего тела. А сколько потом выковыряли — это уж и не счесть. Но хожу! Живу! Работаю! От людей никогда ни в чем не отставал. А кой-кому и феры могу дать, показать кой-кому, как надо работать! Ведь так, мужики?!

— Именно! — отвечают ему. — Именно. Успокойся, что ты.

Все знают, что он прекрасный работник, грамоты имеет, премии, но уж так вот отзывается в нем война, напоминает о себе, не дает забыть...

Через полтора года после возвращения мужа родила Василиса на радость себе и ему долгожданную дочь.

Полсела созвал Артика на празднование этого события.

— Кончилась война — и красавицу дочь родила мне моя Василиса, — сказал бывший солдат, поднимая чарку. — Начало прекрасной, замечательной жизни означает рождение девочки после этих страшных кровавых лет. Потому что женщина — продолжатель рода человеческого. Она дарует нам жизнь и счастье жизни. Пью до дна! — Одним махом опрокинул Артика чарку.

— Ой, ой, грех не выпить после таких душевных слов в наш адрес, — смеясь, запереговаривались женщины, закрывая рты руками. То ли зубы, испорченные голодными годами, не хотели показывать, то ли старому обычаю следовали...

— Ну, Василиса! — весело покачала головой Уксук. — Это же надо, каким краснобаем вернулся твой муж!

— А он за словом никогда в карман не лазил, — в тон ей, так же весело ответила Василиса. — Потому-то, видать, и вскружил мне голову, бедной девчонке.

— Ой, не говори, не говори, помню его парнем — все ходы-выходы знал, такой был! — закричал кто-то из женщин.

И пошел-покатился тот бедовый бабий раз-



говор, когда — ох, не попадайся им на язычок, попадешься — все косточки тебе перемоют, пересчитают, не успеешь оглянуться — мокрого места от тебя не осталось.

Веселое вышло застолье. Счастливое.

И сыновей любил Артикка. Но они без него, не у него на глазах росли-подрастали, вернулся — уже, считай, взрослые. А девочка — как подарок судьбы ему, живым-здоровым вернувшемуся с фронта; так он, видимо, ощущал ее рождение. До сумасшествия любил ее. Поедет в район — никогда без игрушки ли, без обновки для нее не вернется.

А девочка и сама тянулась больше к нему. Дети, они ведь чувствуют, кому дороже. Разве мать ее не ласкала, не подкладывала за столом кусочек полакомее? Нет, все равно девочка к отцу да к отцу. А может, правду говорят в народе: «Мальчишка за подол матери держится, а девочка на шее у отца виснет»? И смех у нее был отцовский, и отцовская манера разговаривать — все как бы в шутку, весело, щуря один глаз, будто на солнце глядит.

...Бежали годы, много лет минуло — теперь она уже замужем, у самой дочка. Но тетка Василиса до сих пор помнит ту свою давнюю обиду. Ведь как она мечтала о девочке, как желала, чтобы именно девочка родилась!..

## 2

А когда Василисе Егоровне стукнуло сорок три года, нежданно-негаданно для людей родила она еще одного сына.

— Ох, мать!.. Годы-то ведь наши уже какие... Успеем ли вырастить, на ноги поста-

вить? — спросил Василису Артикка, когда привез ее с мальчиком из больницы. Был он счастлив, радовался сыну, но то, что годы клонятся к старости, не могло, конечно, не беспокоить его.

Василиса стояла над колыбелькой, глядела на малыша, только что уснувшего после кормления. Распрямылась, глянула с улыбкой на мужа.

— Вот что я тебе скажу, Артикка. Тебе я родила для радости дочь, а моим солнышком будет этот сын. И пока человеком его не сделаю, смерть обо мне пусть позабудет.

— Чудесные слова говоришь, моя жenuшка, прекрасные слова! — обнял Василису за плечи Артикка и хлопнул потом негромко, чтобы не разбудить сына, в ладоши, будто собирался пойти в пляс. — И дай бог, чтобы они исполнились!..

Назвали малыша Алтиером. С рук его не спускала Василиса, ни на шаг не отпускала от себя. Когда он начал ходить да понимать кое-что, начала она «делать из него человека». Понятно, что в ответ на ее слова малыш до времени ничего не мог сказать, ну да ведь зерно не взойдет, если держать его в амбаре.

Вот она сажает капусту, и Алтиер, конечно, с нею.

— Посмотри-ка, Алтиер, милый мой. Видишь, у этой рассады только два листочка, слабенькая-слабенькая она. А мы с тобой высадим ее в землю. И земля, будто этого лишь и ждала, как мать примет ее. Ну-ка смотри, смотри — видишь, только я опустила рассаду в ямку, а земля уже присыпает ее корешки. Вот мы ее землей хорошенько засыплем, польем

водой. И к осени из этой слабенькой рассады эта черная земля вырастит большой кочан капусты. Мы его срежем, засолим, щи из него сварим... Видишь, какое чудо, родной мой. Да ведь? — будто песню напевает, разговаривает с сыном Василиса. — И ты так же потихоньку вырастешь, станешь взрослым — как папа, как мама. Начнешь работать, приносить своим трудом пользу селу, стране — людям...

— Я тебе, мамочка, тогда во-от такой большой калач куплю, — показывает руками малыш, научившийся уже говорить.

— Купишь, Алтиер, обязательно купишь.

Приятно материнскому сердцу видеть в душе сына добрые всходы из посеянных семян.

А вот с полей убирают хлеб, и Василиса рассказывает Алтиеру, как из одного малюсенького зернышка вырастают тысячи зерен. Быль ли рассказывает, сказку ли?.. Слушает мальчонка, раскрыв от восхищения рот.

— Эй, жена, да ты не задумала ли из парня девку вырастить? — пошутит иногда Артикка. — И капусту с ним сажаете, и огурцы, и помидоры, и суп варите, и тесто замешиваете, только еще в куклы не играете.

А Василиса лишь улыбается, и в ответ у нее всегда одна фраза:

— Я же сказала, Артикка: человека делаю!

Она далеко вперед смотрит. В тот день, когда наказала смерти не приходить к ней, пока не поставят они сына на ноги, наметила себе Василиса сделать из своего младшенького хлебороба, человека земли. Сумеет достичь своей цели — останется он тогда в селе, всегда будет рядом с нею жить. А она, состарившись, станет нянчить его детей. Вон прислушаешься

к разговорам старших: «инженером буду», «на летчика пойду учиться», «а шахтером разве не интересно?» Вот о чем говорят, о чем спорят. Присматривают себе профессии, что от века в их роду не бывало. Воля их, конечно. На то их в школе и учат — чтобы они широко смотрели, обо всём понятие имели. Но хоть один из них, знает сердцем Василиса, должен привязаться к земле, чувствовать ее душу как свою, ощущать ее боль своей болью, ее радость своей радостью. И не потому надо ей добиться этого, чтобы в старости был возле нее сын, а она бы внуков нянчила-радовалась, а потому что поли-та эта земля потом его отца-матери, его дедов-прадедов...

А время бежит, бежит... Вот Алтиер уже и в школу ходит. А Василиса незаметно для него опять за свое. «Ты, Алтиер, на уроках труда, — подсказывает она, — старайся выучиться на тракториста. Станешь трактористом — ничего тебе, считай, не страшно: профессия в руках. А призовут в армию — в танкисты попадешь, все трактористы, говорят, в армии танкистами служат».

Алтиер слушает мать, и у него горят глаза.

После девятого класса целое лето работал он помощником тракториста. А в самую трудную пору, во время уборки хлебов, работал и на комбайне. Налюбоваться не могла на него Василиса. Но от лишних похвал удерживалась, обуздывала себя: кто его знает, чем она может обернуться, чрезмерная похвала — мальчишка ведь еще, вдруг возгордится?

Школу Алтиер закончил с пятерками и четверками. И вместе с аттестатом вручили ему права тракториста.

Отгремел выпускной бал, отбелели новые платья и рубашки бывших десятиклассников в рассветных лугах,—кончилось их детство.

Вечером дня через три у родителей с сыном состоялся разговор. Поужинали, попили чаю, и Алтиер, без всякого вступления, вдруг сказал:

— Я, пап-мам, решил пока остаться в деревне. Осенью все равно ведь идти в армию — так чего ехать куда-то? Хочется мне послужить в армий. Ты ведь, отец, был солдатом, а я что, хуже?

— Вот, это мой сын говорит! — хлопнул по столу ладонью Артикка.

— Твой, твой,— улыбнулась Василиса.

Алтиер поднял руку.

— Но вы же не дослушали меня. И еще я хочу поступить на агрономический факультет, на заочное отделение. Документы у меня все готовы, характеристика хорошая...

— Вот, это мой сын! — не в силах сдержать радость, глянула на мужа Василиса.

— Вы опять не дослушали меня! — улыбнулся Алтиер.— Поступлю, пойду в армию, а после армии восстановлюсь — есть такой закон, и продолжу учебу.

— Ну, кроме всего прочего он еще и специалист по советским законам! — с одобрением засмеялся Артикка.— Сынок... И в армию хочешь сходить, послужить, и высшее образование получить... Трудно ведь будет. Хватит ли у тебя сил и терпения, сынок?..

Так спрашивал Артикка, будто совсем не знал своего сына.

— Хватит, папа. Хватит. Все будет в порядке.

...Осенью, студентом заочного отделения агрономического факультета, проводили Алтиера в армию. И точно — стал он танкистом.

— Ну, оправдались мои слова?! — с гордостью спросила Василиса мужа, когда получила письмо сына с этой вестью. — Не зря старалась твоя благоверная.

Распирало ее от счастья, и не могла она в ту минуту не похвалиться перед мужем...

В том же году выдали они и дочь замуж. Ох, гремела-гуляла свадьба!.. Дочь Василисы и Артикки, студентка Канашского педучилища, понравилась вурнарскому парню. И он приглянулся ей. А если так — что поделаешь с молодыми людьми. Теперь ведь не смотрят на то, близко ли от родного дома, далеко ли. Раньше вот было — невеста за свадебным столом сидела под специальным покрывалом с украшениями, причитала: «Ой, да что же вы наделали, милые мои родители, за семь полей, семь гор выдали меня замуж, сгубили мою головушку!..» А теперь из Якутии невестку в дом приводят, за карпатских парней замуж идут. Раздвинулся мир, громадным стал, необъятным.

А Артикке, конечно, тяжело отдавать дочь в дальний край.

— Не могла себе мужа в родном селе найти, — ворчит он.

— Будет тебе, — пресекала его Василиса, словно самой ей все равно было, что опустел их дом. — Девочка — что птенец ласточки: когда-нибудь да выпорхнет из гнезда.

«Да, у нее-то не дочь, Алтиер был любимцем», — переиначивал обиженно слова жены расстроенный Артикка. Ну да, с другой стороны, понимал он, что права Василиса. Спокон

веку покидает девушка родительский дом. Так уж устроена жизнь.

Никого не осталось в доме из шестерых детей. Павел ныне работает на ремонтном заводе в областном центре, давно уже обзавелся семьей, своих забот рот полон. Аркадий, тот прямо из армии на целину, как теперь говорят в народе, уехал. И тоже женился там, дом поставил. В каждом письме зовет к себе. Да как оторвешься от дел — с хозяйством управляться надо... Потому Василиса нет-нет да и запереживает: а вдруг и Алтиер, не сняв гимнастерки, улетит в какой-нибудь дальний край, на какую-нибудь ударную стройку? И когда она пишет ему письма, каждый раз найдет повод, упомянет: «Трактористов да механизаторов у нас в селе, если по большому счету, ой, как не хватает!..»

— Да ты ему не талдычь-ка об этом в каждом-то письме,— укорит иной раз Василису Артикка.

— Если в бочку меда добавишь еще меда, мед не испортится,— отвечает ему Василиса.

И продолжает делать по-своему, потому как уверена в своей правоте.

Алтиер вернулся в родительский дом.

Что говорить, как радовались этому Артикка с Василисой... Правда, Артикка, как старый солдат, в возвращении сына увидел «настоящую солдатскую закваску» — не захотел, мол, оставлять старых родителей в одиночестве, а Василиса все улыбалась про себя: не пропали, значит, даром ее уроки...

Ну да не все ли равно, кто из них прав. Пусть радуются их родительские сердца, пусть полнятся счастьем: вот он, их

возмужавший сын, тут, рядом с ними!  
...А на другой год, вернувшись с весенней сессии, теплым июньским вечером подкрался Алтиер к матери с вопросом:

— Мам, скажи, а сколько лет было отцу, когда вы поженились?

— Это тебе еще зачем? — вскинулась Василиса.

— Ну-у... — разве не интересно сыну знать про жизнь отца-матери?

— А, если так, — вроде успокоилась Василиса. Но материнское сердце догадливо, ясно, что не просто так завел разговор Алтиер. — Сколько, говоришь, было отцу... Да девятнадцать лет, кажется. Тогда ведь рано женились. В хозяйстве рабочие руки нужны были. Особенно перед уборкой много гремело в селе свадеб...

— А теперь, мам, разве нигде не нужны рабочие руки?

— Алтиер... Не мучай ты меня, Христа ради, сердце может из груди выскочить, — не выдержала Василиса, все теперь до конца понявшая. — Говори прямо.

— А я разве не прямо? — хитро улыбнулся Алтиер. — Совершенно ничего не надо пугаться. Очень хорошая девушка. Четвертый год уж пошел, как мы знакомы. Она тоже в институте учится, только на очном. А нынче вот решили пожениться... Только и всего.

— Отец! Отец!.. — закричала в открытое окно Василиса.

Артикка был во дворе, отбивал косу к близящейся сенокосной поре, и во все время разговора матери с сыном в избу доносилось звонкое тонкое пение металла.



— Что за переполох, пожар, что ли? — спросил Артика, входя в дом.

— А вот послушай, что сын твой говорит!

— Ничего пока не слышу. Стоит и молчит.

— Тебе бы все шутки шутить... Жениться хочет твой сын, вот что!

— Ну что ж, — развел руками Артика. — Когда яблоко созревает, оно отрывается от ветки и падает на землю.

— Ой, как ты спокойно, отец, как ты спокойно...

— А что я должен? — снова развел руками Артика и посмотрел на сына, с нетерпением ожидающего, когда отец с матерью выяснят отношения. — Я и сам в свое время женился — ничего...

— Девушка, говорит, учится в институте, — раздумчиво уже потеряла Василиса висок. — Кто бы это, отец? Из нашего села не меньше десяти девушек учится сейчас в институтах...

— Не гадай, мать. Сдается мне по штемпелям на конвертах, не из нашего она села.

Наступило молчание — смотрела себе под ноги, теребила углы фартука Василиса, минута, наверно, прошла, пока выговорила:

— Да уж невестку нам и в своем селе можно было найти...

— Э, мать!.. — протянул Артика. — Птенчик ласточки из одного гнезда вылетает, а на другой год в новом месте гнездо вьет.

— Отплатил, отплатил... — Сразу вдруг стало ей легко, будто какую тяжесть снял у нее Артика с плеч. — Той же монетой отплатил... — И беспомощно заглянула ему в глаза, ища в них так нужный ей прямой ответ. — Так что же будем делать, Артика?

— Готовить свадебное пиво, мать. Да как день назначат — ребяткам нашим сообщать, родным-знакомым, на свадьбу приглашать.

Василиса села на стул, подперла голову руками.

— Но ведь надо познакомиться с невестой. Увидеть ее хоть — какая она?

— Э! — снова протянул Артика.— Лично я понимаю так: нечего нам в их дело лезть. Любят друг друга — и этим все сказано. Красавица ли, дурнушка ли — не с лица воду пить. Лично мне всякие там смотрины ни к чему, подметки у ботинок только снашивать — туда-сюда ездить. Сын наш в армии отслужил. Не маленький уже. Танкист к тому же, не кто-нибудь. А у нас раньше так говорили: «порядок в танковых частях».

— И у нас так же, отец,— Алтиер благодарно подал Артикке руку.— Спасибо тебе.

— Вот и отлично, договорились, значит,— как солдат на плацу, вытянулся в струнку Артика, принимая сыновье пожатие.

Василиса прихлопнула ладонью по столу, сказала весело, глядя мимо отца с сыном куда-то в окно.

— Ну нет. Вы мужчины, у вас свое понятие, а я пойду на будущую свою невестку смотреть. Так велит старинный обычай, и ничего плохого я в нем не вижу. Ко мне же приходили? А я что, слепая-хромая была, что ли? Ты ж, отец, прекрасно знал меня.

— Ох, когда это было, в какие времена! — не сдался Артика.— А теперь все по-другому. Но я тебе не запрещаю, иди — я не против. Как я могу быть против — ты ж все-таки депутат сельского Совета.

— Никак он не может о серьезных вещах поговорить серьезно. Все ему смехом надо, — не удержалась, улыбнулась Василиса.

Артикка с самым серьезным лицом развел руками.

— А что, разве я не правду говорю?

— А правду — так я сегодня же истоплю печь, напеку пирогов, ватрушек в дорогу... И завтра, сынок, тронемся в путь.

Алтиер посмотрел на мать с удивлением.

— Какие пироги-ватрушки? Сядем на автобус или на такси — в миг будем на месте.

Тяжело опершись ладонями о стол, Василиса поднялась, глянула на сына.

— Нет уж. Не желаю бензиновым перегаром дышать, в окошко пялиться, глазами моргать. Если уж путешествовать — так чтобы мир вокруг себя видеть. Пойдем пешком. И конец обсуждениям.

Весело сказала, с улыбкой, а как-то сразу ясно стало отцу с сыном, что и в самом деле, как решила Василиса, так и будет, не переубедишь ее.

— Что ж... хорошо, — только и оставалось сказать Алтиеру.

А у Артикки глаза так и смеялись, радостно прищуренные: «А славно придумала моя Василиса», — читалось в них.

...Через полчаса из белой трубы на красной железной крыше повалил коричневый дым. Ветер дул прямо в уличные окна, и со стороны изба со всеми своими многочисленными дворовыми пристройками стала напоминать стремительно мчащийся поезд.

Утро ушло на сборы.

Вот уж вроде бы и собрались, все уложено, а Василиса, вместо того чтобы выходить, прошлась по избе — сюда заглянула, то посмотрела, будто бы задумала что еще.

— Нет, хоть и смотрины, негоже все-таки с пустыми руками приходиться, — произнесла она наконец и пошла в чулан. Из чулана Василиса вышла с шыртаном, приготовленным про запас еще в прошлом году. Завернула его в полиэтиленовый пакет, в газету и стала устраивать в битком уже набитой кожаной своей сумке.

— Ну, мать, ты готовишься, как древние князья в поход, — пошутил Артикка.

— И что с того? — отозвалась Василиса, продолжая возиться с сумкой. — Хоть князем называй, хоть горшком — только в печь не сажай. Я знаю, что делаю.

— Мама, — беспокоясь, вдруг перепалка их затянется, проговорил Алтиер. — Я уж устал ждать.

Он надел в дорогу белую рубашку и легкий серый костюм.

— Ох, ох, какой он нетерпеливый, бедняжка. Скорее прилететь к ней, в глаза заглянуть хочется... — с улыбкой посмотрела Василиса на сына. — Ничего, успеем.

Артикка вступился за него:

— И в самом деле, мать, будь ты порасторопней. Солнце вон на высоту уж двух дубов поднялось. Траву-то по утренней росе легче косить.

— Ишь, как ему не терпится спроводить меня! — взглянула Василиса на мужа. — Не больно-то здесь разгуляешься.

Я сестре твоей наказала, что и как делать. Если что — живо мне сообщит.

Артикка в долгу не остался:

— Ты, знай, о себе думай. Посматривай, Алтиер за ней, чтобы она в дороге-то на старости лет какого-нибудь старикашку с бородой до пула не подцепила.

— Ладно уж, хватит, — отмахнулась Василиса. И предложила: — Ну, что, присядем перед дорогой?

Все присели, кто куда, и помолчали.

— Ну вот, — сказала Василиса и встала. — Теперь пошли.

— Юный богатырь отправляется по свету вместе с матерью счастье искать, — прокомментировал Артикка.

— Под лежащий камень вода не течет, — ответила Василиса и не удержалась, снова пошутила: — Веди себя без нас хорошо, спичками не балуйся.

Такое уж было у нее сегодня с утра настроение.

— Счастливого пути! — пожелал им Артикка.

Алтиер с матерью миновали деревню и вышли за околицу. Дорога, прожаренная солнцем, укатанная колесами машин и подвод, была гладкая и твердая, как сковорода. Местами она блестела, будто глянцевая.

По обеим сторонам дороги колосилась рожь. Над рожью, в токе теплого воздуха, толклась какая-то мошкара. Порыв ветра сносил их мельтешащее облачко в сторону, но оно тут же возвращалось на прежнее место.

Василиса надела на смотрины невесты сатиновое платье с двумя оборками по подолу.

Фартук цвета озими. На пояснице у нее — сара\*.

Алтиер, когда мать собиралась, уговаривал ее не одеваться так. Ведь не встретишь в деревне уже ни одной женщины, которая ходит в хуспе, тухье, шюльгеме, в том же сара. Даже слова-то эти не звучат в обыденной речи. Только в театре, в спектаклях о старине и услышишь их, да прочтешь еще разве в исторических романах. А наряды эти, у кого они сохранились, лежат на самом дне сундуков и сьупсе\*\*.

Но Василиса не поддавалась на уговоры сына.

— Ничего,— сказала она.— Хоть мы и живем по-новому, а старинные обычаи соблюсти не грех. Я все же невесту сына смотреть иду.

И Алтиер уступил.

И вот шли они проселочной дорогой, по-городскому одетый парень и одетая в старинный чувашский наряд пожилая женщина, и если бы кто посмотрел сзади, то ни за что бы не подумал, что это мать и сын. Потому что хотя и перевалило Василисе за шестой десяток, но шагает она быстро, легко и стан у нее — как у девушки, и, как у девушки, походка. Не напрасно, видно, в молодости ходила она за водой с коромыслом на плече. Заставь-ка нынешнюю горожанку на коромысле воду носить. Из стороны в сторону ведра будут мотаться, вся вода выплеснется. «Коромысло осанку дает», — говорили прежде. Вот она, обратная сторона коромысла.

---

\* С а р а — старинный женский наряд, имеющий форму неправильного четырехугольника, расшитый шелком, шерстью, бисером и подвешиваемый к поясу.

\*\* С ю п с е — выдолбленный бочонок с крышкой для хранения женских нарядов.

Ну, а уж в том, что сохранилась у Василисы девичья талия, заслуги коромысла нет. Попробуйте-ка вот пропарить в овине вяз в паре с ильмой. Эх, какая выйдет дуга! Или лыжи. Или полозья для саней. Век не износятся, только больше и больше будут костенеть от времени. Такой же, видно, породы и Василиса — работа да трудности лишь закаляли ее и крепче делали.

Бежала, бежала, маняще стелилась им под ноги дорога. Звеневший в вышине жаворонок заполнял своей песней все поднебесье и, казалось, звал ее все вперед и вперед. Но они и без того торопились. Алтиеру хотелось поскорее увидеть любимую, взять ее руку в свою, не терпелось и Василисе — какова она, избранница ее сына?

Дорога привела их к пологой, плоской на вершине горе и вильнула, побежала дальше, огибая гору.

— Пойдем-ка, сынок, напрямик, — сказала Василиса.

В основании гора была песчаная, и, чтобы не начерпать полные туфли песку, они разулись и пошли босиком. Песок был нагрет солнцем, теплый, и ногам было приятно погружаться в него. Разве что вот трудно идти: сделаешь шаг — и на полшага сползешь, сделаешь — и сползешь. Склоны горы заросли соснами, кроны их чуть слышно шумели в вышине.

Но вот сосны начались сменяться лиственными деревьями, под ногами стала появляться росшая отдельными кустиками трава, и вот сосен не стало совсем, одни лиственные, а под ногами — плотный крепкий ковер, травы, не ус-

певший еще даже высохнуть после ночи. Аромат трав и цветов смешивался со смолистым запахом сосны, наплывающим снизу, дышалось полной грудью, и голову слегка покруживало.

Внезапно деревья расступились, и Василиса с сыном вышли на поляну.

— Вон там, в тени, на той стороне, сядем отдохнем. И обуемся заодно, — сказала Василиса.

Они пересекли поляну, Василиса опустила свою кожаную сумку на землю и достала из нее небольшое домотканое покрывало. Потом расстелила его у подножия старой ветвистой липы, словно бы выбежавшей в свое время на поляну из леса да так и оставшейся стоять отдельно.

— Перекусим? — посмотрела она на сына.

— Да надо, пожалуй, — смущенно сказал Алтиер. И спросил удивленно: — Как это ты покрывало взять догадалась?

— А кто ж без этого в дорогу выходит? И поесть вот пригодится, и отдохнуть, — спокойно отозвалась Василиса. — Кто тут для нас что приготовит?

— Ты права, — согласился с ней Алтиер, и по тону его было ясно, что сам бы он сделать этого не догадался.

Сейчас ведь мы все такие. Стронуться с места, пуститься в самый дальний путь — ничего нам не стоит. И все торопимся, не пешком идем, а на колесах едем или же, как птица, летим. Запас одежды в чемодан сложен, деньги в кармане есть, что еще надо? Ничего. Во всяком городе, в каждом селе есть теперь и столовые, и кафе — приходи, плати деньги, ешь. На глазах изменилась жизнь. Но как-то плохо мы понимаем все это, не отдаем себе отчета,



насколько она изменилась. Так оно вроде бы все и должно быть, как есть, ничего нас не удивляет. Вот уж и полеты в космос стали нам привычны, помню одного в Москве на выставке, в павильоне «Космос»: «А, да я уж все эти корабли на фотографиях в газетах видел...» Это, конечно, человек, в котором наше нелюбопытство доведено до абсурда, но всякий абсурд лишь высвечивает явление...

— Полвека уж, поди, прошло, как я последний раз была на этой поляне, — выкладывая свертки с ватрушками и пирогами на покрывало, проговорила Василиса и обвела поляну быстрым взглядом. — После войны, когда отец вернулся, на праздники сюда всей семьей приходили. Тебя еще и в помине не было... Смотри-ка ты, как бежит время!..

— Так не полвека назад, наверное, а лет только двадцать пять? — улыбаясь, поправил ее Алтиер.

— Ладно уж, — отозвалась Василиса. — Это уж так просто к слову пришлось... Ешь давай. — Они принялись за еду, и через некоторое время она сказала: — А знаешь ли, сынок...

Сказала — и замолчала. Алтиер ждал продолжения минуту, две и, не дождавшись, рассмеялся:

— Нет, мама, не знаю.

Василиса тоже усмехнулась:

— И в самом деле, смешно вышло. Как у того попа...

— У какого попа?

— Да анекдот такой про попа есть. Говорили, будто бы это с попом с улицы Лешкас было... Вышел он заутреню служить. А сам, оказывается, похмельем мучился. Оно и надо вро-

де служить и не можется. Вот он тогда и задумал схитрить. «А знаете ли вы?!» — прогремел своим басом и смолк. Народ опешил: о чем они должны знать? А поп через некоторое время снова: «А знаете ли вы?!» Ну, люди, тогда, была не была — что-то отвечать надо: «Не знаем, батюшка, не знаем!» Поп и пропой: «А если не зна-аете, о чем с вами и говори-ить...» Пропел, повернулся и ушел. Вот и я, как тот поп: «А знаешь ли ты...» — Василиса снова усмехнулась и вытерла углы губ концом платка — наелась. — Я тебе о том сказать хочу — мы с отцом первый-то раз под этой ведь липой увиделись. Да. Эта липа, сколько живу, столько и в моей памяти жить будет. Я тогда на праздники сюда приехала, в нашу деревню. Тогда-то она, правда, не моей была... Да. У нас здесь родственники жили, дочь их ровесницей мне была. Умерла рано, ты и не застал уж ее... пусть ей земля будет пухом. Ну так вот, мы сюда, на эту поляну, на гулянье пришли. Под этой самой липой и стояли, семечки щелкали. Вдруг родственница моя, подружка, в бок меня тычет и шепчет на ухо: «Гляди, какой парень красивый». До сих пор помню, до чего у нее дыхание горячее было, чуть прямо ухо не обожгло мне. Я посмотрела. Вижу, стоит такой в шелковой зеленой рубашке, в черных шароварах, вышитым поясом подпоясан. И в нашу сторону смотрит. Сам загорелый, глаза блестят. Спрашиваю у подружки: «Откуда он?» А она отвечает: «Из нашего села». — «Да он уж не свахой ли тебя нанял?» Оби-иделась!.. «Ну, если ты думаешь так, то я к своим девчатам пойду. Оставайся одна здесь». Вижу — не соврала, прощенья у нее попросила.

И в самом деле, статным твой отец был, красивым... невозможно было на него внимания не обратить.— В голосе ее прозвучала затаенная гордость.

— Отец, по-моему, и сейчас молодцом,— сказал Алтиер.

— То-то вот и вскружил мне голову,— отозвалась Василиса.— Объединился еще с парнями и подошел к нам. О том, о сем поговорили, походили вдоль опушки... Тогда ведь, как теперь, не ходили за руки взявшись. Просто рядом ходили, в глаза глянут друг другу — и все ясно обоим... Ну вот. После праздников отец вместе со своими дружками у нас на вечернем гулянье появился. Тогда-то вот и сплясали мы с ним в первый раз. Потом походили вечер по улице. Вот и все... Через неделю уж приехали к нам на мои смотрины. Ох, и языкастая же баба пожаловала... Нас в семье пятеро детей было — четыре девушки, один парень. Баба та, как вошла, так и врезала: «В народе слух ходит, у вас телок полно, девать некуда, не продадите ли одну?» Вот такими прямо словами, до сих пор в ушах звучат. Под землю провалиться готова была... Да с другой-то стороны, по тем временам, ничего зазорного в том не было, что телкой назвали: тогда ведь женщина вроде того, что и за человека не считалась. А баба знай себе мелет: «Нас и то не пугает, если ваша телка тоже лишь одних телок носить будет...» Вот как. В общем, не ломались мои родители, сразу согласились. Может, побоялись, а ну как, если откажешь, так никто больше сватов засылать не будет, все же с изъяном семья: одних телок здесь носят... Ну да я рада была, что согласилась. И липе

этой всю жизнь благодарна: хорошего мне мужа нашла... Дай бог, чтобы она долго стояла. Чтобы ее ни пила, ни топор не тронули...

Василиса умолкла. Посидела молча. Наде-  
ла туфли. И спросила неожиданно:

— А у тебя, сынок, есть подобное место?

Алтиер растерялся. Прост вопрос, но не просто на него ответить...

— Что, нет? — с тревогой спросила Василиса.

— Есть, мама, — сказал наконец Алтиер. — Чебоксары.

— Чебоксары — это слишком много всего... — Василиса раскинула руки, словно хотела показать, как это много. — Чебоксары — это сколько улиц, сколько домов, парков...

— И наша любовь, мама, такая же большая.

— Отцов сын! Ну, отцов сын! — в восхищении ударила себя по коленям Василиса. Глаза у нее так и засияли. — Хорошо ответил. Успокоил душу. — Она оперлась руками о землю и встала. — Что ж, давай дальше пойдем. Отдохнула на заветном месте — и сил прибавилось.

4

К полудню Василиса с Алтиером, миновав село Шыбалги, вышли на шоссе Канаш — Чебоксары.

— Ох, и машин тут! — в восхищении сказала Василиса. — Туда-сюда... прямо как муравьи снуют. А лет двадцать назад, как вспомнишь, так в час пройдет одна — и то хорошо.

— Давай, — с радостью подхватил Алтиер, — остановим одну из машин, сядем и...

— Ишь! — перебила его Василиса. — На слове меня поймать хочешь! Не выйдет. Как собирались, так и пойдем пешком. Гляди-ка, времени всего двенадцать часов, а сколько уж мы с тобой увидели нынче.

— Это, конечно, так, мам...

— Перейдем-ка вон на ту сторону да пообедаем в тени, — продолжила Василиса. — Силы восстановим. — И, воспользовавшись минутным отсутствием машин, быстро пошла через дорогу.

Алтиер, глядя ей вслед, улыбнулся. «А мать у меня еще хоть куда», — говорила эта улыбка. Потом он спохватился и побежал следом.

И вот снова расстелено покрывало, снова выложены на газету желтобокие, глянцевиые от яйца пироги, аппетитно золотящиеся чыгыт\*.

— Давай пообедаем, сынок, — взяла в руки нож, чтобы разрезать пирог, Василиса. — Пусть сила от еды разольется по нашим жилам, обновит кровь, освежит нам души.

— Это еще что за молитва? — удивленно спросил Алтиер.

— Это не молитва, — отозвалась Василиса. — К слову просто пришлось... А вообще дед твой так говорил, когда мы за стол садились. Раньше к еде другое отношение было. У крестьянина каждый кусок хлеба потом, а то и слезами полит был... Ну, давай.

Хорошо естся на свежем воздухе! Горячего бы еще супчику сюда. Да к нему — прохладное пахтанье из погребца. Но ни то, ни дру-

---

\* Чыгыт — сырники в виде больших лепешек, запеченные на кружочке липовой коры в русской печи.

гое в дорогу не возьмешь, а пироги с черемухой да чыгыт — это тоже неплохо.

Неожиданно прямо напротив них остановился автобус. Дверцы распахнулись, и по ступенькам, неся впереди себя чемодан, сошла молодая женщина лет двадцати пяти. Одежда она была по-городскому, и в движениях ее была та плавность, то как бы томное изящество, которые сразу же выдают человека нефизического труда.

Автобус уехал, фыркнув дымком, женщина обхлопала свою одежду, видимо стряхивая дорожную пыль, огляделась и, подхватив чемодан, направилась прямо к Василисе с Алтиером.

— Приятного аппетита, — сказала она, оттаиваясь возле них. Улыбка у нее была приветливая, широкая, а щеки такой чистоты и свежести — будто фарфор, на который упал отсвет утренней зари.

— Спасибо за доброе пожелание, доченька, — ответила Василиса. — Присаживайтесь к нам, если не против.

— Почему же не присесть, если приглашают, — не стала ломаться женщина и опустилась на траву рядом с ними.

— Вот пирог, вот чыгыт. Пожалуйста, — предложила Василиса.

— Спасибо, — сказала неожиданная гостья, взяла кусок пирога и стала есть. — Куда путь держите?

Василиса взглянула на сына.

— Да вот идем с сыном его невесту смотреть. Будущую невестку...

— Мама! — проговорил Алтиер укоряюще.

— Ладно, ладно, — улыбнувшись, снова

посмотрела на него Василиса.— Не велик секрет.— И обернулась к женщине.— Меня звать Василисой Егоровной, сына Алтиером. Алтиер Родионович... А вас как величать?

— Ой, простите,— спохватилась женщина.— Зовите Розалиндой. Без отчества. Я еще не заслужила, чтобы по отчеству — Сидоровна там или Петровна...— И вздохнула:— Невесту смотреть идете... здорово-то как. А я уж вот три года замужем. Три, а только сейчас по-настоящему себя женой почувствовала...— Глаза у Розалинды наполнились слезами, но она не стала их вытирать, а, закинув голову и мигая, пересилила себя. Потом опустила голову и, молча, с жадностью откусив от пирога, снова стала есть.

— Непонятно ты говоришь, доченька,— удивленно проговорила Василиса.— И имя тебе будто свое не нравится. А такое красивое...

Розалинда махнула рукой:

— Чего там красивого... Отец у меня учитель. Он и придумал это имя. Как же, в селе другого такого нет! Теперь-то я понимаю... да что из того: сколько времени попусту растрчено...— В голосе ее была горечь.— С самого детства только и слышала: «Розалинда — ах, какое прекрасное имя!» Да еще: «Ах, какая красавица! Прямо проглотить хочется».

— А что, разве не красавица? — сказала Василиса.— Ты, Розалинда, и в самом деле очень красивая, мне тебе ни к чему льстить.

— Э, вот и вы, Василиса Егоровна, запели их песню.— Розалинда вздохнула.— Даже ведь не Роза. Нет. Ро-за-лин-да!.. Это надо же... Я всю прошлую ночь не спала, все думала. Обо мне так говорили: «Первая красавица села».

Ну, а раз говорят, так и сама себя такой чувствовала. Кончила десять классов, в институт не поступила, стала в сельской библиотеке работать. Парней возле меня всегда много было. А я... не знаю, любила ли я кого... Ваня мне из армии сколько писем писал... я на три одним отвечала. Ну, а потом вернулся он. Мать его все Иваном называла. И мне, знаете, «Иван» не нравилось. Но заметила я — любит он меня совершенно безумно. Единственный сын у родителей. Отец, правда, у него умер... Но дом, все постройки дворовые — это все, как игрушка, ни над чем спины гнуть не надо. Живи, знай. Забор такой — курица не перелетит. Подумала-подумала я да и вышла за Ивана замуж...

— Без любви? — спросила Василиса.

Розалинда помолчала.

— Ой, не знаю, — отозвалась она потом. — Не знаю... Я из Чебоксар сейчас. Сюда к нам из Чебоксар поездом ближе, а я вот автобусом решила. Чтобы подольше. Ночь думала — еще подумать... И решила: приеду, искупаюсь с дороги в пруду, войду в дом и скажу свекрови с порога: «Примите свою бездельницу сноху...»

— За что же себя такими словами ты украшаешь? — с недоумением спросила Василиса.

— Так ведь так оно все, Василиса Егоровна! — с каким-то надрывом проговорила Розалинда. — За то, что он единственный сын, за то выбрала — значит, все нам достанется, никуда больше не уйдет. За дом, выходит, замуж вышла!.. В деревне-то ведь так, сами знаете: приведут в дом невестку — наутро уж или скотину в стадо выгонять посылают, или за водой. А меня не-ет. И день до отвалу спала, и другой, и третий... Мать Ивана встанет,



обед сготовит — и после этого уж в поле на работу уходит. Она уйдет, а я только через час еще подниматься начинаю, в библиотеку собираться. Временами, когда встречаемся, хочет мне, вижу, что-то сказать, а я делаю вид, будто и не замечаю ничего... Так вот с самого начала и поставила себя. Может, с Иваном она и говорила о чем, да Иван разве хоть слово упрека мне бы сказал? Так и жила: ела да одевалась, одевалась да ела... Три года прожила так!..

Василиса смотрела на Розалинду, и услышанное все никак не могло уложиться у нее в голове.

— Но это ведь страшно, Розалинда, — говорила она наконец. — Жить такой жизнью... есть да одеваться... это ведь страшно.

— О том я и говорю! — все с тем же надрывом воскликнула Розалинда. — Иван у меня механизатор. Все время в работе. А в страду и дома-то почти не появляется. А я.. я, как хмель, что вокруг шеста вьется, жила. Никогда ничего дома не делала. Вымыла ли хоть раз ложку какую? И не вспомнишь... Ну вот, третьего дня все у нас и вышло. Иван вдруг возьми да и скажи мне: «Помоги маме огород прополоть, а то весь сорняками зарос». А я отвечаю: «Что я, для того замуж вышла, чтобы сорняки из земли таскать?» Он мне: «Я тебя прошу», — говорит. А я ему: «Хоть на колени встань, не буду. Некогда мне: мы с Маяк в Чебоксары ехать договорились, по магазинам походить». Уложила чемодан — и уехала...

— Да не оговариваешь ли ты себя? — не утерпела, перебила ее Василиса. — Неужели можно так? Чтобы отказаться матери помочь?

— По-научному это называется эгоизмом...— задумчиво, как бы самой себе, сказала Розалинда.

— Да, Розалинда, да,— отозвалась Василиса.— Очень точно это ученые люди назвали.

Розалинда доела свой кусок пирога и взяла чыгыт.

— Ох, Василиса Егоровна,— сказала она, одновременно жуя.— Хорошо, что вчера в поезде встретилась с Агриппиной Климентьевной... Она мне никто, я ее раньше не знала, просто попутчица. Я ведь ни с какой Маюк не договаривалась никуда ехать! Так, гордость разыграла: что это я буду подчиняться мужу со свекровью... Все по-своему привыкла... Ой, простите! — вдруг спохватилась она, отводя ото рта руку с чыгытом.— Я тут все ем и ем... но понимаете, со вчерашнего дня во рту маковой росинки не было!

Василиса ничего не ответила, но взгляд ее был красноречивее всяких слов. «Да уж лучше бы не подходила ты»,— говорил он.

Впрочем, Розалинда и не ждала никакого ответа.

— Очень я благодарна этой Агриппине Климентьевне,— продолжила она.— Ей уж за семьдесят, а на птицеферме работает, и хорошо видимо— в Чебоксары на совещаниеехала. Я ее спросила: «А не трудно вам, все-таки такой уже возраст?» А она: «Так как же без работы? — И смеется: — На работу сил до самой смерти хватит». А горе ей какое в жизни выпало, если б вы знали...

— Откуда ж мне знать,— сухо сказала Василиса.

— Вы на меня обиделись, да? — быстро про-

говорила Розалинда.— И правильно, так мне и надо. Меня надо положить на землю — и топтать ногами, да и того мало...

— Даже уж так? — Василиса усмехнулась.

— Да, так, — ответила Розалинда.— До сих пор рассказ Агриппины Климентьевны так и звучит во мне. Понимаете... как все началось. Кто-то в вагоне о детях заговорил. И что уж там говорили, какая там фраза брошена была — не помню, но Агриппина Климентьевна, в общем, сказала: «Что вы! Мать, она всегда мать!» И так получилось, что рассказала потом о себе. У нее было два сына. После войны она их сама из деревни отправила в город счастье искать. Один на Урале обосновался, другой в Донбассе. Поженились, само собой. И вот, старший сын приглашает нянчить ребенка: «Продавай свой дом и приезжай насовсем». Ну, и продала, и поехала к нему. Двух внуков воспитала, и того, и другого до школы довела. А однажды ночью слышит вдруг разговор в соседней комнате — сын с невесткой говорят. Чужой разговор, конечно, подслушивать нехорошо, да дверь открыта была, а уж когда сообразила, что к чему, так и неудобно вроде прикрывать было. А разговор о ней, об Агриппине Климентьевне. И невестка прямо наседает на сына: «Надоела она мне здесь, сил ее терпеть нет. Пусть теперь к твоему брату едет». Утром Агриппина Климентьевна встала и говорит сыну: «Что-то я по твоему братишке соскучилась, не съездить ли к нему?» Ну, невестка тут же за билетами помчалась... А Агриппина Климентьевна ни к какому другому сыну не поехала, а возвратилась к себе

в деревню. Хорошо, что не все деньги, которые за дом получила, истратила. Сначала у своей младшей сестры пожила, а потом сруб небольшой, что для бани готовился, купила и для жилья приспособила. Она так сказала: «Печь есть, дым из трубы идет — жить можно». Смородину, малину, яблоки посадила... по второму разу, в общем, стала хозяйством обзаводиться. И на птицеферму работать поступила. Вот как у нее вышло. В трудные годы последний кусок детям отдавала, растила их. Нужно стало — дом продала, поехала... И Иван мой тоже ведь на все для меня готов. Так что ж я, должна свою свекровь заставить новый дом себе строить? — Розалинда задала этот вопрос и замолчала, глядя на Василису.

Глаза у нее, увидела Василиса, снова полны слез. И эти слезы, больше, чем все ее слова, сказали Василисе, что в Розалинде действительно случился перелом, хотя, конечно, многое в ней при этом осталось прежним.

— Думаю, доченька, ты не допустишь до того, чтобы свекровь твоя в подобном положении очутилась, — сказала она.

— Всю ночь, я говорю, думала... — Розалинда опустила глаза в землю. — Никогда еще так не думала... правду говорю. Ведь, представьте, Агриппина Климентьевна не пала духом, не стала жаловаться на жизнь... И сыновей своих не прокляла, нет. «Нынче, — сказала, — опять внучата приезжали, ягоды, яблоки ели, свежим воздухом дышали, радовались...» Кто-то спросил: «Что же, простили вы их?» А она ответила: «Плохая, видно, мать была, что-то просмотрела в них, когда они еще маленькими были». Это-то меня больше

всего и потрясло. Кого?! Самое себя Агриппина Климентьевна обвиняет!..

— Ну, коль не смогла дать правильное воспитание...— начала было Василиса и не договорила. Какое там не смогла, когда последний кусок хлеба отдавала им, растила...

Розалинда, показалось, не услышала ее слов.

— А мне кого и в чем обвинять, Василиса Егоровна? — спросила она.— Называла меня мать «красавицей» да называла — и испортила мне душу, так? Так ведь какая еще душа при этом. А надо иметь такую же большую душу, как у Агриппины Климентьевны. Знаете ли, Василиса Егоровна, я ведь вчера в магазине взяла да и купила свекрови теплое платье и платок шелковый. И все, больше ничего не покупала. Нет, вру. Ивану еще ботинки купила. Первый раз в жизни для других людей что-то покупала... До сих пор все мне покупали.— Розалинда помолчала мгновение и сказала: — Вот какая веселая встреча у вас, Василиса Егоровна, и это когда вы на будущую невестку смотреть идете...

— Да ничего,— глубоко вздохнула Василиса.— Лишь бы твои слова не пустыми оказались, делом бы стали.

— Лишь бы свекровь подарки мои приняла...— отозвалась Розалинда и поднялась на ноги.— В какую сторону идете сейчас?

Молчавший до сих пор Алтиер сказал:

— Да вот, объяснил нам тут один добрый человек, через деревню Красный яр проходить сейчас будем.

— А-а,— протянула Розалинда.— Это и есть наша деревня.— Какой уж теперь Красный

яр. Одно название осталось. Красный яр теперь Зеленым стал. Будем проходить мимо — покажу. У нас в деревне один садовод есть... вот он-то и сделал из Красного Зеленый яр. Хоть название деревни меняй.

Василиса стала укладывать сумку.

— Ну, а что ж, — сказал Алтиер Розалинде, — соберитесь всей деревней, проголосуйте — и пошлите вашу просьбу, чтоб изменили, куда надо.

Он взял сумку у Василисы, и они, все втроем, пошли по дороге.

Нешадно палило взобравшееся в зенит солнце. Налетавший порывами ветерок не освежал, дуновение его было колюче и жарко. Но Василиса шагала, не только не отставая от сына, но порою и перегоняя его, и тогда ему приходилось прибавлять шаг.

## 5

Попрощавшись с Розалиндой, миновали Красный яр — и вот уж впереди завиднелась новая деревня, Ильмовка.

Ильмовка оказалась небольшой деревенькой дворов на восемьдесят, растянувшейся вдоль дороги, дорога и была ее главной и единственной улицей. Кое-где от этой улицы короткими отростками отходили переулки. Деревня буквально утопала в зелени. И на самой улице, и в палисадах росли березы, ветлы, тополя, черемуха, рябина, и даже проезжая часть улицы была в ячеистой благодатной тени.

Хорошо, приятно идти по такой улице — не чувствуешь никакой жары.

Василиса с сыном уже почти вышли из деревни, осталось миновать два окраинных дома,

когда от ворот одного из них, каменного, с зеленой железной крышей, послышался какой-то шум — громкие голоса, выкрики.

Василиса на мгновение замедлила шаг. Но шум явно был не скандального происхождения, а шумом веселья и радости, и Василиса смело пошла вперед.

Когда они с Алтиером сравнялись с воротами, которые были распахнуты настежь, из-за стола, стоявшего в глубине двора прямо напротив ворот, быстро поднялся крепкий, крупнотелый мужчина.

— О-о, хорошие люди! — закричал он.

На столе стоял жбан с пивом, бутылки с городскими винами.

— Мимо нашего дома, хорошие люди, — идя к Василисе с Алтиером, громко говорил мужчина, — нынче никто просто так пройти не имеет права. Кто желает добра мне и моему сыну, тот обязательно посидит за этим столом. — Он подошел и с мягкой благожелательностью положил на плечо Василисе руку. — Познакомимся давайте. Меня величают Силантием Матвеевичем. В деревне зовут Силаном.

— Что ж, если с открытой душой, — познакомимся, — сказала Василиса.

— С открытой, с какой же еще, с открытой! — закричал Силантий Матвеевич. — От рождения злым не был... Вру, впрочем. На войне злой был, ох, злой. — И засмеялся: — Но все зло на врага растратил. Так как величают вас? — наклонился он к Василисе.

— Василиса Егоровна, — ответила Василиса, чувствуя уже, что уклониться от веселого застолья никак не удастся. — А по-деревенски, если хотите, Веселис.

— Смотри-ка ты! — шумно обрадовался Силантий Матвеевич. — Веселис! Это звучит как «веселись»! Прекрасное имя. Эх, жаль, Василиса Егоровна, женат. А то бы сейчас же прямо встал на колени перед вами, попросил бы вашей руки...

— Отец! — совершенно спокойно позвала со двора Силантия Матвеевича женщина. Она была в цветастом нарядном платке, из-под которого выбивалась прядка седых волос. Наверняка жена. — Отец! — повторила она. — Не стой-ка посреди улицы, не размахивай руками, как ветряная мельница, а лучше за стол людей приглашай. Люди с дороги, устали, наверно.

— И в самом деле! — воскликнул Силантий Матвеевич, взял Василису под руку и повел к столу. — А это, значит, — указал он на женщину в платке, — моя жена, Синав... Трех сыновей и трех дочерей родила мне. А?! Каково?!

Алтиер пошел следом за матерью. Не осматриваясь же одному посреди улицы.

Василиса оглянулась на него и торопливо проговорила:

— А это мой сын, Алтиер.

Силантий Матвеевич развернулся и оглядел Алтиера с ног до головы, будто сейчас только и увидел.

— О, молодец из молодцов твой сын, весь в мать! — снова зашумел он, переходя; видимо сам незаметно для себя, на «ты». — Кажись, справнее моего сына даже? — Жар его радости был, несомненно, подогрет градусами того, что зовут в народе «зеленым змием». — Сегодня, Алтиер, — воскликнул он затем, — никто мимо моего дома не может пройти просто так. Хотя бы чарку пива, да должен выпить. Проходишь



мимо — порадуйся вместе с нами! Такую радость жизнь однажды дает. Вон, видишь, — махнул он рукой в сторону парня за столом, очень похожего на него, — сын мой, из армии вернулся. А сегодня в сельсовет заявление подали... Через месяц свадьбу сыграем. Вот как, Василиса Егоровна! — снова повернулся он к Василисе.

— Да я вот и сама на будущую невестку смотреть иду. Вот для него как раз, — кивнула на Алтиера Василиса.

— Ого-го! Вот это да! — еще больше разошелся Силантий Матвеевич. — Бывают же на свете подобные совпадения... Да вы тогда самые мои дорогие гости. А ну-ка, Димка, — крикнул он сыну, — подвинься! Сын Василисы Егоровны рядом с тобой сядет. Рядом с тобой и рядом со мной — между нами!

Василиса села на освобожденное для нее место, а Алтиера Силантий Матвеевич усадил, крепко надавив ему на плечи, да так крепко, так, что Алтиера буквально вжало в стул.

За столом сидели в основном люди пожилые. Четыре женщины, шесть мужчин. Была среди этих женщин, конечно, и будущая теща Дмитрия, да поди угадай-ка, которая из них...

А Силантий Матвеевич так все и клокотал радостным оживлением!

— Мать! — распоряжался он, обращаясь к жене и одновременно наполняя рюмки. — Стели в избе сейчас же две постели. Таких людей, каких нам нынче дорога послала, никак без ночевки отпустить нельзя.

— Хорошо, — улыбаясь, отозвалась Синав и поднесла Василисе полную кружку пива. — Вы, Василиса Егоровна, не удивляйтесь, та-

кой уж он у меня человек. И радость, и горе со всем селом делит. По-другому не умеет...

— А что ж в этом плохого? — ответила Василиса, принимая кружку. — Большая радость, она и должна из человека выплескиваться, на то и большая... Не все вот, к сожалению, так радоваться умеют. Одни считают — под стол от нее сползти надо, другие — кулаками всласть намахаться...

Они с Синав говорили тихо, вполголоса, но Силантий Матвеевич все же услышал их.

— Э-э! — вмешался он в их разговор, — разве люди те, что так считают? Будто в детстве малом под столом не напозлались. А молодцов-кулачников я вообще терпеть не могу, каждого бы из них... Не зря ведь старики говорят: «За плугом ходить и дурака научить можно, а чарку в руках держать — без ума не обойдешься». Я бы эти слова на каждом разливальном ковше написал.

— Вот ты, Силан, — посмеиваясь, вступил в разговор старик, сидевший напротив Силантия Матвеевича, — так считаешь, а мой сосед по-другому. Когда из гостей ползком возвращается, тогда говорит: «Вот это угостили, так угостили». А когда на своих ногах идет, под ручку с женой, тогда по-другому: «Разве это пир? Из наперстка угощали, жадюги, что пил, что не пил — даже в глазах не двоится».

Силантий Матвеевич согласно качнул головой:

— Есть еще такие! Не люблю их. И сам так не угощаю. Гостю должно быть весело у тебя — вот главное. И поесть, и попить он должен — обязательно, но чтобы домой возвращался — человеком, а не свиньей. Так ведь,

Василиса Егоровна? — посмотрел он на Василису и потянулся к ней своей рюмкой.— Давай чокнемся да выпьем за встречу...— Они чокнулись. Савелий Матвеевич сделал это с таким изяществом, какого никак нельзя было ожидать от столь шумного человека, потом посидел с секунду, глядя, как обычно делают женщины, поверх рюмки и не торопясь выпил ее. Взял с блюда на столе кусок пирога с зеленым луком и мелко покрошенным яйцом, подал его Василисе, взял другой и стал есть.

Алтиер с Дмитрием тем временем познакомились уже, так сказать, вблизи, лично и пожали друг другу руки.

— А где твоя будущая жена? — спросил Алтиер.

— Стесняется, — сказал Дмитрий, — не пришла. «Что, говорит, твои односельчане скажут. Через порог, мол, еще не переступила, а за стол уже села». Она у меня скромная, не то что некоторые... А у тебя как?

— Тоже скромная. Приглашал к нам, деревню нашу увидеть, дом... не согласилась. Как же я просто так, сказала, в дом жениха пойду. Нельзя. Теперь уж вот окончательно о свадьбе должны договориться.

— Смотри, как еще твоя мать на это дело посмотрит, — пошутил Дмитрий. — Она у тебя, видать, крутого нрава.

Что ему не шутить, у него-то теперь все ясно — через месяц свадьба.

— Мать у меня правильный человек, — Алтиер с улыбкой сделал придерживающий жест ладонью. — Увидит ее — не может моя невеста ей не понравится.

— Ну, гляди тогда, — сказал Дмитрий.

И поднял свою рюмку.— Выпьешь за мое счастье? На свадьбу тебя приглашаю. Если раньше меня свою свадьбу сыграешь, приезжай вместе с женой.

— Спасибо,— поблагодарил Алтиер и тоже поднял рюмку.— Пусть счастье твое будет — как солнечный ясный день. Если же вокруг окружат тебя черные тучи, караул не кричи, не сдавайся — сумей разогнать их. Сам, в общем, будь кузнецом своего счастья!

— Какой тост! — признателен тебе за него,— чокаясь с Алтиером, сказал Дмитрий.— Откуда у тебя такое красноречие?

— По наследству,— смеясь, поднося рюмку ко рту, сказал Алтиер.

— А наши птенчики, Василиса Егоровна, гляжу я,— подал голос умолкнувший было Силантий Матвеевич,— нашли общий язык!

— Не птенчики, орлы! — отозвалась Василиса Егоровна.

— Точно! — вскричал Силантий Матвеевич.— Какие птенчики, конечно, орлы! Как я так ошибся? Настоящие орлы! Ну-ка, встаньте на ноги!

Дмитрий с Алтиером, улыбаясь, поднялись. Силантий Матвеевич долго, минуту, а может, и больше, смотрел на них, любуясь, потом сказал:

— Орлы! Орлы!.. — вышел из-за стола, подошел к Синав и крепко поцеловал ее.— Спасибо тебе, что родила мне такого орла. И перед вами,— повернулся он к Василисе и поклонился ей,— склоняю голову: такого же орла родили, как моя Синав.

В разговор неожиданно вмешался старик, сидевший напротив Силантия Матвеевича, тот,

что рассказывал про соседа, любящего возвращаться из гостей на четвереньках.

— А мы, Силан,— сказал он, обращаясь к Силантию Матвеевичу,— не орлы с тобой, что ли? У нас вообще племя такое — орлиное. Трое из семьи на войне были, все трое вернулись. Работаем — хвалят, детей имеем — позавидуют, и в доме достаток. Давай, Силан; нашу...— И, набрав полную грудь воздуха, старик — видимо, брат Силантия Матвеевича — затянул:

Дуб на горе посадил я,  
Станет отцом он мне.  
Вырастет, тогда вершиной  
Дотянется до солнца вполне...

— Э-эх, вырастет, тогда вершиной дотянется до солнца вполне,— жиденьким тенорком подхватил Силантий Матвеевич. Кто бы мог подумать, что у человека такого богатырского сложения окажется такой голос. Но что поделаешь, у природы свои соображения..

Липу под горой посадил я,  
Станет она мне как мать.  
Буду гостей угощать я —  
Липовый мед продавать,—

дружно запели женщины. В мелодии песни была торжественная широта, она дышала радостью, счастьем бытия.

— Василиса Егоровна! — встал Силантий Матвеевич.— Спойте песню вашего села!

— Спую! — отозвалась Василиса.— Не скажите только,— обвела она всех взглядом,— вот пришла, никто ее прежде в глаза не видел, и сразу же петь начала.

— Да что вы! Никто так не скажет,— успокоила ее Синав.— У нас в застолье любят песню.

— Спую тогда, спую, коль просите,— повторила Василиса.

— Алтиер, помогай матери,— ткнул его в плечо Силантий Матвеевич.

Полный,— кругом говорят,— наливай — начала Василиса.

Не нальешь — так ведь полным не будет...— поддержал мать Алтиер.

— Велик мир, много в нем песен! — поведя плечом, сказал Силантий Матвеевич слушая. А Василиса с сыном продолжали:

Только птичьего нет молока,  
Стол прогибается под тяжестью блюд.  
Плещется, как большая река,  
Разговор застольный — и там, и тут...

— Ну, Василиса Егоровна! — закричал Силантий Матвеевич, когда песня была закончена.— Ну, Алтиер, орел! Ублажили. Спасибо! Приезжайте на нашу свадьбу обязательно! Пусть на нашей свадьбе не только односельчане — вся округа гуляет. Так, мать? — посмотрел он на жену.

— Так, отец, так,— подхватила Синав.— Пусть все приезжают, кто услышит. Даже если в Москве услышат — пусть приезжают, на всех угощения хватит. Земля у нас плодородная, колхоз богатый... год от году жизнь лучше становится. Приезжайте!

— Мы тоже приглашаем вас,— наклонила голову Василиса.— До сих пор знакомы не были, теперь будем. Лиха беда начало.

Как в той песне, что она спела с сыном, потекла застольная беседа — слово к слову, спор к спору...

Но надо было идти. Как ни просили Силантий Матвеевич с женой остаться, как ни напи-

рали на то, что и постели уж застелены, Василиса настояла на своем. Если так мы будем ночевать в каждом доме, где хорошие люди живут, сказала она, доберемся ли мы до цели? Настояла.

Расставание вышло таким, будто были знакомы уже тысячу лет. Силантий Матвеевич даже прослезился. Договорились, что обязательно сообщат друг другу о дне свадеб, договорились и потом ходить в гости друг к другу. Алтиер с Дмитрием обнялись.

И снова пошла стелиться Василисе с сыном под ноги дорога. Все так же звенел в вышине жаворонок, теплый ветерок гнал волну за волной по начавшей цвести ржи, гудели, пронизывали воздух жужжащими стрелами пчелы над бело-розовым гречишным полем.

И думалось необычайно возвышенно и торжественно. Богата же ты, жизнь, на встречи, как щедро оделяешь ими! И сколько же, оказывается, добрых людей вокруг — надо только сдвинуться с места, оглянуться...

6

Заночевали Василиса с Алтиером в Липовке. Хозяева, пустившие их на ночлег, не дали Василисе, когда она хотела подать к столу что-нибудь из своего домашнего припаса, даже раскрыть сумку. «Вы что, — сказал хозяин, средних лет ясноглазый веселый мужчина, — думаете, мы на кусок хлеба не заработали? Обижаете нас». Хозяйка достала из погребца пива: «Перед уборкой решили приготовить свежее». И хотя выпили уже свое нынче у Силантия Матвеевича, отказываться было неудобно...

Утром пустились в путь вместе со стадом. На траве еще лежала роса. Хорошо идетя по утренней прохладе! Ноги прямо сами несут.

Вот миновали последние дома Липовки. Вот и совсем уже не видно ее...

Дорога, которой они шли, была, видимо, главной — то и дело, то с той, то с другой стороны выбегали на нее всякие тропинки, узкие и широкие, выходили проселочные дороги. Она, как большая река, что собирает в себя по пути все ручьи и мелкие речушки, главная дорога...

Вон вдалеке на пересекающей пшеничное поле тропинке показались два человека. Впереди женщина, в нескольких шагах за нею — мужчина.

В руках у женщины время от времени что-то поблескивало. Тогда мужчина пытался ее догнать, но женщина убыстряла шаг — и он останавливался, стоял мгновение и наконец снова начинал идти.

— В догонялки они какие, что ли, играют? — не выдержала, спросила сына Василиса.

Алтиер пожал плечами.

— Не понятно. Сойдемся вот — так, может, пойдем.

Женщина вышла на дорогу. Василису и Алтиера разделяло с нею метров пятьдесят, но женщина шла медленно, поджидая мужчину, который все еще брел по тропинке, раскачиваясь на ходу из стороны в сторону, и Василиса с Алтиером скоро догнали ее.

— Здравствуйте, добрые люди, — сказала Василиса.

— И вам того же, — отозвалась женщина, отчего-то смущаясь. В руках у нее была бу-



тылка вина — она, видимо, и взблескивала на солнце, когда они с женщиной шли полем. — Куда так рано направились?

— А это что? — вопросом на вопрос ответила Василиса, показывая на вино у неё в руках.

— А-а... это-то... бутылка, — проговорила женщина. Ей, видимо, сделалось совсем неловко. — К сестре ходили... и пришлось заночевать там. Вот из-за этого бездонного горла... — со злостью указала она на мужчину — мужа по всей видимости, — мало-помалу приближающегося к ним. — Теперь вот, видите, домой веду, бутылкой приманивая. Догонишь, говорю, выпьешь. Вот и шагает. Для того только, чтобы догнать и выпить.

Мужчина подошел к ним. На незнакомых людей возле жены он не обратил внимания.

— Нюр! — проговорил он, протягивая руку к бутылке. — Дай... умоляю. Пожалей...

— Людей хоть постыдись, бездонная ты бочка!.. — мигом спрятала женщина бутылку за спину и еще попятилась, так что оказалась как бы под прикрытием Василисы.

— Ну, нашла себе защитников... — в отчаянии помотал головой мужчина. — Зря только старался, выходит...

— Это из-за чего же ты старался? — не стерпела, спросила Василиса.

— Из-за чего... — Губы у мужчины обиженно надулись, как у маленького. — Я ведь не так просто шел... торопился... Я ж с надеждой... Знать бы, так остался бы у шурина...

— Неужели до такой степени выпить хочется? — с недоумением спросила Василиса. И приказала: — Да подними голову, что она у

тебя не держится, посмотри-ка в глаза мне.

Мужчина пропустил ее слова мимо ушей.  
— Ведь я же не чужой ей,— пробормотал он,— я муж... Что она издевается надо мной... обманывает, понимаешь ли... сил нет, а она идти заставляет...

— Потому и заставляет, что муж,— в сердцах, но спокойным все же тоном, сказала Василиса.— Заботится о тебе. Хочет до дому довести, в постель тебя положить, чтобы ты отдохнул. А не был бы ты ей мужем, так и не вела бы тебя.

— На-а... что мне постель? — посмотрел мужчина на Василису мутным взглядом.

— Э-э, тебе только вино нужно, да? А ну-ка представь-ка, если твоя жена, как ты, напьется, уложишь ты ее в постель?

— Чего? — вскинулся мужчина.— В постель? Пьяную бабу?

— Вот-вот-вот,— проговорила Василиса с иронией и погладила мужчину по голове.— Беденький, ишь. Дошли до сердца слова. А тебе вот, пьяному, постель стелят, да еще «миленький мой» скажут...

— Но-но-но! — закричал мужчина.— Нечего тут, понимаете, смеяться... Я ей муж — и дело с концом. Я на свое пью, я работаю, кровь свою трачу...

Василиса перебила его:

— Не свою ты кровь тратишь, а кровь своей жены, кровь своих детей сосешь. Понял? А потом,— сделала она небольшую паузу,— знаешь ли, что у вас неполноценные дети по твоей вине родиться могут? Понесет твоя жена от тебя от пьяного, и появится ребенок на свет без рук, без ног. Знаешь это, нет? Ведь

ты муж, отец — или тебе это все равно?

— Ой же ты боже ты мой!.. — вместо него проговорила вдруг с надрывом Нюра. — А ведь я же на третьем месяце сейчас... Емелькке! Ну, как так и случится... что делать-то?!

У храбrivшегося минуту назад мужчины будто отнялся язык. Он смотрел на жену вытаращенными глазами, нелепо выпрямившись, будто аршин проглотил, и молчал. А потом вдруг сломился и повис у нее на плече, приговаривая с подвыванием:

— Нюра!.. Нюра!.. Как это... как?..

— Поплачь, поплачь, — сказала жена. — Может, со слезой-то и вино из тебя выйдет.

— Нюра... Нюра!.. — все приговаривал мужчина, сполз по ее плечу, сел на корточки и закрыл лицо руками. — Это же мой ребенок... Это не может... Если что, застрелюсь...

Его никто не успокаивал. Спустя некоторое время он отнял руки от лица, поднялся, достал из кармана носовой платок, вытер слезы, высморкался.

— Нюра! — проговорил он тихим надтреснутым голосом. — Тебе надо получше питаться. Витамины тебе надо есть...

— О витаминах он заговорил, посмотрите на него! — сама едва удерживаясь от слез, покачала головой женщина. — Да на, на ты свою бутылку, лопай! — всунула она вино в руки мужчине. — Пусть видят люди, какой ты есть.

Здорово он ее, видимо, измучил своим пьянством.

— Да что ты, Нюлочка... — виновато заговорил мужчина, держа бутылку в вытянутых руках и не зная, куда ее деть. — Можно разве при людях так... я что... разве я больше дру-

гих выпиваю... Астафий Николаич вон... литр за один присест выпивает... а я...

— Ну и иди к нему, и живи тогда с ним, — отрезала женщина и отвернулась от мужа, спросила Василису: — Куда путь держите, добрые люди? Так вы и не сказали... Если по этой дороге, пойдемте вместе.

— Пойдемте, — согласилась Василиса. — А то, если с каждым пьяным останавливаться, время на него тратить, мы и к будущему году туда, куда идем, не доберемся.

— Вот точно, мама, — обрадовался Алтиер. Он уже боялся, что конца-края не будет этой истории.

— Нюр!.. — жалобно позвал мужчина. — Что ж ты меня, оставляешь, что ли?..

— Оставайся, а что ж, — бросила она. — Обнимай здесь свою бутылку.

— Нюр!.. Возьми, положи к себе в сумку. Дома за столом разопьем...

— Сам неси, — сказала женщина. — У меня и без того сумка тяжелая, сестра гостинцев надавала.

— Ну, идем? — позвала ее Василиса.

Они пошли — Василиса, Алтиер, женщина, — мужчина некоторое время стоял, перетаптываясь, потом двинулся следом за ними.

— У вас что же, — спросила Василиса женщину, когда они прошли немного, — женский совет в деревне не работает?

— Женский совет? — переспросила женщина. — Нет, наверное... не знаю.

— А, вон оно что, — протянула Василиса. И засмеялась: — Ну, тогда ясно, чего твой муж так опустился. А у нас женский совет крепко работает. Не только пьяниц мужиков обсужда-

ем, но и женщин пробираем иной раз. Почему дети плохо учатся или, скажем, почему муж у нее в грязной рубашке ходит. Да опытом делимся. Как избу со вкусом обставить, как прибираться в ней, как вкусную еду готовить. Лекторов из города приглашаем. Ты вот одна отругала мужа, он до дому дойдет — и забудет все. А если в совете его, при всем честном народе... волей-неволей придумаеся.

Они дошли до развилки, и женщина, внимательно слушавшая Василису, остановилась.

— Нам сюда,— сказала она,— сворачивать. А вам прямо? Счастливого пути вам.

— Спасибо,— подала ей руку Василиса. Пошла уже было и остановилась.— Подумайте насчет женского совета. Обязательно.

— Надо, наверно...— проговорила женщина.— С учительницей посоветуемся...

Когда через некоторое время Василиса с Алтиером оглянулись, она все еще стояла у развилки, ждала мужа, а он еле плелся, покачиваясь из стороны в сторону, и в руках у него поблескивало.

7

Приятно путешествовать, когда такое яркое солнце над головой, такой теплый ласковый ветерок в лицо. Хочется, пока есть сила в ногах, все идти и идти, не останавливаясь, скорее дойти дотуда, где сходятся друг с другом земля и небо. Но вот уж она, та одинокая ветла, что была маленькой точкой на горизонте, и рядом, и позади — а место смыкания земли с небом все так же далеко...

Василиса с сыном миновали картофельное поле и вышли к полю пшеницы. На краю пше-

ничного поля стоял столбик, к которому была прибита дощечка: «Поля колхоза «Вперед». Дощечка аккуратная, покрашена маслом от порчи, столбик крепкий, основательный — захочет кто созоровать, не выдернет. А пшеница такая сильная и ровная, будто кто специально равнял ее ножницами. И нет в ней, как на картофельном поле, желтых цветков сурепки. Не просто так, видно, поставлен этот столбик с дощечкой. Смотрите, люди, знайте: это наша земля, колхоза «Вперед», мы от вас ничего не скрываем, и если мы плохо обрабатываем землю, растим плохой урожай — ругайте нас... Почему-то, кажется, что именно так думали колхозники, когда решали поставить эту табличку.

Шумит, шепчется пшеничное поле...

Вот вдалеке показались купы деревьев, вот уже стали видны между ними дома, вот уже можно различить, у какого дома какая крыша: железная или шиферная. Деревня.

У Алтиера заняло сердце. А ну, как окажутся и в этой деревне такие гостеприимные люди, как Силантий Матвеевич? Тогда все, опять останавливайся. Эх, кабы знать, что наперед — так обойти стороной ту улицу, тот дом...

Дорогу преградили ворота выгона. К столбу сбоку была прикреплена дощечка: «Ворота за собой просьба закрывать».

— Уважающие себя люди живут здесь, — проговорила Василиса, увидев эту дощечку.

Алтиер стал открывать ворота, ожидая тяжелого скрипа, неподатливости, но они раскрылись легко и бесшумно.

— Хозяин у них есть, — с удовольствием сказал он, закрывая за собой ворота, как о том и просила дощечка на столбе.

Василиса с сыном пошли по улице.

На стене крайнего дома висел небольшой железный лист с надписью: «Самая чистая улица».

— Ты смотри-ка! — удивилась Василиса.

Они с Алтиером остановились и уже не спеша еще раз прочли надпись.

— Интересно!.. — в недоумении пожала плечами Василиса.

Они пошли было дальше, и тут же почти Алтиер остановил Василису снова.

— Погляди-ка! — сказал он.

С другой стороны дома висел такой же небольшой железный лист, только на этом было написано другое: «Дом образцовой чистоты».

— А остальные что же, в мусоре все стоят? — снова удивилась Василиса.

Никак они не могли понять, что бы это все значило.

Но на следующем доме была точно такая же надпись. И на третьем, и на четвертом.

— Да что такое? — сказала Василиса, вконец уже раздосадованная тем, что загадка, чем дальше, тем больше лишь запутывается. — Игру они тут затеяли какую, что ли?

«Дом образцовой чистоты», сколько они ни шли по улице, эту надпись встречали на каждом доме. Не было ее только на одном.

Хоть бы встретился кто — спросить бы кого, что это все значит, но людей на улице — никого. Ни единой души. На сенокосе, видимо? В нынешнем году травы уродились на славу, вон в газетах пишут — некоторые хозяйства обещали заготовить кормов сразу на два года.

Василиса с сыном подошли к большому, пятистенному дому. С улицы перед домом была

посажена вишня, ягоды ее уже начали нали-  
ваться. Когда созреют — открывай окно и кла-  
ди в рот. С боковой стороны дома были посаже-  
ны яблони. К отягощенным яблоками ветвям  
поставлены подпорки.

У ворот подметено так, что ни пылинки не  
поднять ветру — прямо как на току. А чуть сбо-  
ку ворот во дворе в тени — скамейка. Захочет-  
ся после работы вечерком посидеть на свежем  
воздухе, отдохнуть или с соседями потолко-  
вать — пожалуйста!

Кстати, на скамейке как раз сидит стару-  
ха — вот наконец и возможность узнать что-  
нибудь об этих странных надписях.

Василиса остановилась.

— Сестрица! — позвала она старуху. — Про-  
стите за беспокойство, но не напоите ли водой?

— Что вы, какое там беспокойство! — дер-  
жась руками за поясицу, медленно поднялась  
со скамейки старуха. — О-ох, неудобно, что ль,  
повернулась вчера в поле... Сено ворошила.  
Сегодня вот не смогла выйти... Так чего воды-  
то? — спросила она. — Чай у меня еще горячий,  
может, чаю?

— Нет-нет, — поспешно ответила Василиса.  
Она вообще не хотела пить, но нужен же был  
какой-то повод для разговора. — Я просто воду  
больше всего люблю.

— Ну, воля ваша.

Старуха зашла в избу и скоро вернулась  
с эмалированной кружкой в руках.

— Ах, какая вкусная вода, — сказала Ва-  
силиса, выливая остатки воды под вишню.  
И пошутила: — Так у вас чисто, не знаешь,  
куда и выплеснуть. — Она отдала кружку, по-  
благодарила и спросила: — А что это у вас



за таблички на домах понавешаны? Для чего?

— Неужели не понятно? — удивилась старуха.— Или в вашей деревне не стараются?

— Что значит, стараются? — удивилась в свою очередь Василиса.— Что это за старание — таблички на дома вывешивать?

— Э,э, темные вы еще люди, оказывается, — обиженным тоном протянула старуха.— В нашей деревне третий год уж стараются.

— Да в чем стараются-то? — Терпение у Василисы начало кончаться.— В каком деле-то? Расскажи, объясни «темным людям»!

— А чего тут и объяснять, и так все ясно, — сказала старуха. Она замолчала, но потом все-таки решила рассказать.— В позапрошлом году, — начала она, — моего внука и Кытра Мишшу, его товарища, в пионерский лагерь за Волгу отдыхать посылали. Походили уж они по Чебоксарам, по столице по нашей. Там вот и увидали на доме табличку такую: «образцовый дом». Тоже их это, как вас, удивило. Познакомились с ребятами из того дома, стали расспрашивать. Ребята им объяснили, показали. Двор там, во-первых, как вылизанный. Ни бумажки на нем, ни окурка. Для мусора — бак с крышкой стоит. В подъездах, во-вторых, тоже чистота, хлама там у квартирнику никакого держать не позволено. А следят за всем за этим порядком, оказывается, сами ребята... Ну вот, возвратились они в деревню, внук мой и Кытра Мишша. И затеяли между собой соревнование. Тайное — никому ничего не говорили. Вижу только — что-то внучек мой больно уж по дому старается. И то делает, и то. А однажды говорит: «Ты, бабуся, грязную воду куда попало не

выливай. Я вон для этого специальную выгребную яму сделал. И мусор всякий туда же». Ну что ж, тяжело мне, что ли? Согласилась. А внук мой, гляжу, метелку себе из бересклета сладил. И двор подметает, и навоз сгребают в одну кучу... Полы в избе начал мыть. И даже на крыльце порядок наводит... И Кытра Мишша стал забегать — что ни день. И все с внуком они что-то шепчутся, спорят о чем-то, оценки какие-то выставляют. Потолкуются эдак у нас, Кытра Мишша потом: «Давай ко мне теперь, у меня проверим». Ну, ясно мне стало, в чем у них соревнование... Месяца два они вдвоем соревновались, а потом, гляжу, и другие ребята с нашей улицы участвуют. Не заметила, как и меня в свои дела вовлекли. Внук все. Давай, говорит, бабушка, пойдем с нами, у тебя глаз наметанный, сможешь нам чистоту оценивать. Раз сходила, другой. Выбрали меня пионеры членом комиссии. А потом, обратил внимание на всю эту возню наш председатель. Обратил, присмотрелся и вызвал внука моего с Кытра Мишша-то к себе. Что ж вы, говорит, ребята, какое важное дело для деревни начали, а меня и в известность не поставили... И завертели дела. На общее собрание колхоза этот вопрос вынесли. Многие ругались, кричали: не надо-де нам этого. «Их улица начала, пусть вот она и покажет, что такое образцовая чистота». Делать нечего, председатель согласился: «Ладно. Но самим вам потом не стыдно будет?» Вот как оно все началось. Теперь уж вся деревня соревнуется. А мы вот нынче звание «Самая чистая улица» заслужили! Стараемся!.. Без курьезов, конечно, необходимо. Видели, поди, что на

одном доме надписи нет? Ну вот. Сын их подвел. Делал корабль — настругал посреди двора, никто и не заметил. Комиссия стучится, вышли родители на крыльцо — что такое?! Не стали ворота открывать. Ясное дело, лишили их звания. Председатель наш так сказал: «Пока нужно почаще комиссии ходить. Потом люди привыкнут, без всякой комиссии будут образцовыми». — Старуха сделала паузу, как бы переходя к другому, и заключила: — Теперь вот в борьбу за звание деревни образцового быта включились.

— Да-а... походишь по свету, без пользы домой не вернешься, — проговорила Василиса, и по тону ее можно было понять, что она раздосадована: перегнали в колхозе «Вперед» ее родное хозяйство. — Умные у вас ребята, полезное дело сделали, — сказала она потом, обращаясь уже к старухе.

— Ничего, с головой у меня внук, — удовлетворенно покивала старуха. — Да теперь ребята вообще умные не по возрасту пошли. Много читают, много видят. Все для них сейчас. Лишь бы войны не было, вот что...

— Не должно, — отозвалась Василиса. — Вон мы как за мир боремся. И по радио говорят, и в газетах пишут: защитим мир.

— Дай бог, дай бог... А то ведь жизнь-то день ото дня лучше да лучше становится. В магазин придешь — все есть, что душа пожелает.

— Верно, верно, — подхватила Василиса. — Богатые стали, верно. Забываем уж, что это значит — когда есть нечего. Хлеб высохнет — в ведро его.

— Ой, не говори, есть такие, — поджала губы старуха. — А хлебу цену не знать — послед-

нее дело. В старину хлебом клятву давали. И никто ее нарушить не мог. Вот как. «Богаче земли, выше хлеба — ничего нет», — так наши деды-то говаривали.

— Так и сейчас так. — Василиса вспомнила Артикку. — Мой муж частенько говорит: «Труд — хозяин земли, земля — богатство страны, хлеб — основа счастья».

— Хорошо твой муж говорит... — старуха вздохнула. — Мой вот, жаль, с войны не вернулся... Нынче бы, под Октябрьские, как раз семьдесят бы ему исполнилось. Пятерых детей одна поднимала. Спасибо колхозу — помог, не дали нам пойти по миру. Все дети в люди вышли. Старший в Чебоксарах на заводе работает, дочь одна — учительница. Комбайнер еще, тракторист, зоотехник... У всех специальности разные. Что меня радует — плодовитый у нас род. В другой раз, как соберутся все, так двадцать пять человек выходит... Жаль, сам-то с войны не вернулся... — она снова глубоко вздохнула, поджав губы и глядя куда-то вдаль.

— Он за счастье ваше боролся, — мягко сказала Василиса. — А то разве было бы сейчас вашего роду двадцать пять человек?

— Так оно, конечно... — согласилась старуха, по-прежнему глядя куда-то вдаль. Наверное, сейчас она видела своего мужа таким, каким он ушел от нее в те, давние уже годы, словно живого...

Нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу, но до сих пор молча слушавший разговор женщин Алтиер не выдержал.

— Мама! — сказал он резко. — Так ведь мы и за месяц не дойдем!

Василиса снизу вверх строго взглянула на него.

— Мы, родной мой, не мякину веять, а ума набираться вышли. Слышал? Ее внук и Кытра Мишша вернулись домой, принесли с собой доброе дело. Теперь и мы об этом узнали. Тоже нам постараться,— выделила она это слово,— не мешает.

— Попробуйте, постарайтесь,— вернулась старуха из своего далека.— Доброе дело, правильно...— И вскинулась, вспомнив, видимо, с чего начался разговор: — А то, может, пообедаете, на дорогу-то?

— Спасибо за приглашение. Но уж откажемся, извини.— Василиса встала.— Видишь, сын торопит. Для большого дела мы в путь пустились.

— Ну, смотрите,— тоже поднялась старуха.— Пусть у вас все хорошо будет. В другой раз пойдете мимо — заглядывайте.

Василиса с сыном вышли на улицу. Налетел порыв ветра — и зашелестели, нежно залепетали листья тополей. Закачались, похожие на большие броши, гроздья еще зеленой рябины.

8

Василиса открыла дверь с надписью «Председатель» и вошла внутрь.

— Вы будете председатель сельсовета? — спросила она сидевшего за столом дородного, с розовым двойным подбородком нестарого еще мужчину.

— А,— после паузы произнес мужчина, и в голосе его прозвучало: «Что надо? Ходят тут всякие, мешают...»

— Познакомимся,— прошла Василиса к

столу.— Меня зовут Василисой Егоровной. Хотя я и из другого района, но тоже депутат сельского Совета.— И протянула руку.

— Викентий Миронович,— с недовольным видом пожал ее руку своей мягкой полной рукой председатель.

Василиса оперлась рукой о стол и посмотрела председателю прямо в глаза.

— Вот что, Викентий Миронович. Я бы и не зашла к вам, да больно уж меня одна вещь задела...

— Что еще такое? — вскинулся председатель.

— Пугаться не надо,— спокойно сказала Василиса.— Вы, наверно, и сами об этом хорошо знаете... Я насчет моста...

— А-а...— У председателя, видимо, отлегло от сердца.— А я думал, что серьезное.

— А это что же, не серьезное? — повысила голос Василиса.— Ведь ходить люди по мосту боятся! Какого кругалья делают! А ну как не знающий человек влетит на подводе на этот ваш мост? Утонет ведь. Уж лучше бы вы совсем его разобрали.

Викентий Миронович вскинул руки, выставив ладони вперед.

— Вы поспокойнее, Василиса Егоровна. И слова выбирайте, знаете ли.

— Поспокойней?! — переспросила Василиса.— Да вы народ свой не жалеете, а хотите, чтоб поспокойней. Каждый день людям с лишком полкилометра кругалья давать — это шутки в деле? Это сколько же драгоценного времени пропадает! А? Неужто такая бедная у вас деревня — не можете отремонтировать мост?

— Народ, народ... что вы мне про народ.—

Вид у председателя был недовольный.— Наш народ молчит.

— А вам непременно нужно, чтобы заговорил. Здорово! Вас народ выбрал, вам своим представителем быть доверил, так вы и должны руководить народом, а не он вами.

— Однако! Учительница нашлась! — Викентий Миронович повысил голос.— Вас, таких подкащиков, много, а работать... А уж если по-прямому, так вы из других мест, и нечего вам за мост чужой деревни беспокоиться.

Василиса покачала головой:

— Э-э, нет, родной... Для меня на советской земле чужой деревни нет. Чужаки есть. Те, которые долг свой исполнять не хотят, доверие народа обманывают.

Председатель несколько испугался. Чем черт не шутит, пойдет еще эта баба куда выше или напишет... с таким-то характером...

— Руки, Василиса Егоровна, все никак не доходят,— сказал он после некоторого молчания. Он решил изменить тактику: горячего коня без обманного движения не взнуздаешь.

— Вот с этого бы и начать,— проговорила Василиса.— А то «народ молчит», «чужая деревня»... Сдается мне, просто вам за дело лень взяться. Работу-то если начнешь, ее до конца доводить надо, а так — руки в брюки, сиди себе в потолок поплеывай.

— Слушайте! — Председатель хлопнул ладонью по столу и поднялся. Не смог он удержаться на взятом было тоне.— Что вы сюда пришли... Какое у вас есть право?!

Василиса ответила не сразу. Выждала немного и затем сказала с расстановкой:

— Право советского человека.— Сделала

еще паузу и продолжила: — Жаль, тороплюсь я сейчас. А на обратном пути непременно заверну в ваш райисполком. Непременно. Таким мостом ты весь район свой позоришь.

— Ну зачем, зачем так...— По лицу у председателя пробежало даже нечто вроде подобострастной улыбки. И смысл ее был совершенно ясен: черт, надо было все-таки сдержаться. И в самом деле, пойдет ведь...— Я уже говорил с председателем колхоза, он отказывается — сенокос, мол... Придется еще поговорить...

— Ох, какой ты! — усмехнулась Василиса. — Голыми руками тебя не возьмешь. Вмиг выскользнешь — склизкий.

— Не меня, тебя ни с какой стороны не ухватишь, — сказал председатель. — Ишь какая! Мост вот где, — похлопал он себя по затылку, — сидит. Что ж, думаешь, сами не видим...

— А если видите, постарайтесь сделать и побыстрее. — Василиса взялась за ручку двери.

Викентий Миронович, видимо, совершенно произвольно, с облегчением вздохнул.

Но, начавши уже открывать дверь, Василиса опустила ручку и снова повернулась.

— Еще одно маленькое замечание, — сказала она. — Старше тебя человек или моложе, если зашел к тебе, предложи ему сесть. Руководитель, что он за руководитель и по таким мелочам узнается.

Викентий Миронович не нашелся даже, что ответить. На лице его было написано: и принесла же ее нелегкая!..

— Прощайте, Викентий Миронович, — улыбнулась Василиса. — Пусть вас больше из «чужих» деревень не беспокоят. А условие этого... — Она не стала договаривать, и так было



ясно, что это за условие, открыла дверь и вышла из кабинета.

— Ох, до всего-то тебе, мама, есть дело, — сказал Алтиер, вставая со стула.

— Не могу терпеть беспорядка, сынок. Знаешь ведь.

— Знаю...

— Ну вот. Если бревно не ошкурить, оставить в коре, от него пользы не будет, только сгниет понапрасну.

Они спустились с крыльца, и вновь пошла стелиться им под ноги дорога...

9

Деревня Улмалуй. Вот она наконец перед нами. Как ждал этого мига Алтиер, как рвался сюда душой!.. Дом Ольги седьмой с краю. Все помнит Алтиер, хотя был здесь лишь один раз.

Но они столько гуляли с Ольгой по этим улицам, по берегу этой речки в те два дня, которые он пробыл у нее, что все это запомнилось словно бы само собой. На третий день они уехали в Чебоксары — у Ольги начинались лекции. Но уехали уже невестой и женихом — Ольга дала согласие стать его женой.

Алтиер шел тогда вместе с нею к автобусу — и не чувствовал под собой земли. Легкость была в теле — хоть взмывай в небо. А небо было высокое, чистое, по-вечернему глубокое. Но если бы даже оно было тогда затянуто тучами и шел дождь — Алтиер ничего бы этого не заметил.

Немного человеку выпадает в жизни таких мгновений. И они отпечатываются в его памяти

навсегда. Никакие годы, никакие испытания не могут затуманить их. Наоборот, чем дальше отодвигаются они во времени — тем становятся ярче и выпуклей. Может быть, оттого, что с годами дни нашей юности делаются нам все дороже и дороже? Может быть...

Улмалуй! Какое название — Яблоневое поле! Видимо, здесь, когда закладывалась деревня, были заросли диких яблонь. Народ умел давать меткие названия!.. Впрочем, и сейчас возле каждого дома — яблоневый сад.

— Вот ее дом, мама, — остановился Алтиер.

— Справно живут, — коротко сказала Василиса, окинув взглядом избу с подворьем.

...А у Ольги сегодня такое состояние — бегают по избе туда-сюда, за одно возьмется, за другое — все из рук валится, беспокойно ей как-то. Христина Устиновна это заметила. «Не в себе ты, Ольга, сегодня что-то».

Недаром, наверно, говорят: «Сердце чует». Ведь с кем этого не бывало: найдет вдруг на тебя — так и распирает от радости, то петь неожиданно начинаешь, то вдруг какое плясовое коленце выкинешь, сядешь — не сидится, так тебя будто кто и поднимает...

И Ольгу словно кто заставил выглянуть в окно.

Выглянула — и отшатнулась, вся залилась краской.

— Мама! Там Алтиер!.. И видимо, с матерью, посмотри-ка!

Христина Устиновна быстро подошла к окну, глянула.

— Ой, доченька! — вырвалось у нее. И, подавив волнение, повернулась к Ольге. — Выйди им навстречу. Почет окажи...

— Неудобно, мама... Может, сама ты?

— Это еще что. Ее жених прибыл со своей матерью, а я выходи. Это некрасиво будет.

— Ох, мама...

— Ничего, доченька, ничего,— подбодрила Ольгу Христина Устиновна.— Искреннее слово, как ни скажи,— все хорошо будет. Ловкость для лжи нужна.

Ольга сбежала с крыльца — как ветром ее снесло. Но, подбежав к калитке, перешла на шаг и растворила калитку с учтливой медлительностью.

— Здравствуйте...— проговорила она, стонясь.— Проходите...— И больше ни единого слова не осилила выговорить. Был бы Алтиер один — повисла бы у него на шею, тысячу слов уже сказала бы, а так... Разве можно позволить себе такое при его матери? Что она подумает...

— Саям! — весело воскликнул Алтиер и шагнул было к Ольге, но вспомнил, что он не один, с матерью, и остановился.

— Здравствуйте, здравствуйте! — проходя во двор, протянула Василиса Ольге руку.— Василиса Егоровна.

— Ольга...— еле слышно, почти шепотом, проговорила девушка. И повторила: — Проходите... На улице хорошо, говорит моя мама, а в избе лучше...

— Чудесно говорит твоя мама,— улыбнулась Василиса.— Алтиер! — посмотрела она на сына.— А ты что ж, как прирос к месту. Иди, за руку с девушкой поздоровайся. Она, наверное? Ольга?

Алтиер шагнул к Ольге и крепко сжал ее руку в своей.

— Она, мама,— сказал он, глядя на Ольгу.— Она, Ольга!..

Так крепко он сжал ей от радости руку, что Ольга вскрикнула бы от боли, если бы не Василиса Егоровна рядом.

Наконец калитка была закрыта, они прошли двором, поднялись на крыльцо — и дверь сеней распахнулась перед ними настежь.

— Проходите, гости! — кланяясь, пригласила Христина Устиновна.— Кажется, вас,— взяла она Василису под руку и повела ее в дом,— Василисой Егоровной звать?

— Так, так,— сказала Василиса.— А вас — Христиной Устиновной?

— Именно,— отозвалась Христина Устиновна, и обе они рассмеялись.

Василиса глянула в красный угол, где должны были бы стоять иконы, но икон в нем не было — пустой угол. «Как бы не так что не сделать», — мелькнуло у нее в голове.

— По старому обычаю,— сказала она.— когда приходят невесту смотреть, под иконы садятся. Дело не в иконах, я думаю, но я все же примеру дедов последую, сяду туда, где бы они в прежние времена стояли.

— Обычай дедов соблюдать — дело святое,— ответила Христина Устиновна и подставила Василисе стул.— Прошу вас. Молодые вот нынче забывать обо всех обычаях стали...

— Стали. А жаль... Обычай-то эти народные, не какие-то там, они и в новой жизни сгодятся.

— Именно,— подхватила Христина Устиновна и повернулась к дочери, оставшейся стоять в дверях с Алтиером.— Ты, Ольга, давай-ка в погреб, стол собирай, да порасто-

ропнее, а я за дровами — печь растапливать.

Ольга взглянула на Алтиера и быстро пошла в сени, слышно было, как скрипнула дверь чулана, звякнула дужка ведра.

«Легкий шаг, не топает», — подумалось Василисе. Ей это понравилось. «Кто идет, как в барабан бьет: бь-омк, бь-омк — с тяжелым характером человек, вздорный, а кто идет, что трясогузка ступает, легко да неслышно — у того и характер уживчивый, и в работе спорый». — говорил ее дед.

Христина Устиновна попросила прощения и тоже вышла во двор — за дровами. Василиса с сыном остались в доме одни.

— Чего! — сказала Василиса, глядя на Алтиера, все так же продолжавшего стоять в дверях. — От радости-то, я вижу, и присесть не хочешь? — Помолчала и спросила: — Что, единственная она дочь?

— Да нет, — отозвался Алтиер. — Их трое. И все девочки. Старшие сестры уже замуж вышли, отдельно живут.

Он не понял тайного смысла вопроса.

Василиса засмеялась.

— Эх, Алтиер! Связался, как и отец твой, с семьей, где одни девчонки?.. А если Ольга в мать, кто тогда род Артикки продолжит?

— Ну ты что, мам... — в смущении пробормотал Алтиер. — Жеребенок родиться не успел, а ты уж хомут одевать хочешь...

Василиса снова засмеялась.

— Ишь, напыжился уже. Испугался... — И вздохнула. — Не пугайся. Неужели я против твоей воли пойду? Да нет. А девушка, видно, любит тебя. Нас, старых воробьев, на мякине не проведешь, мы сразу все видим —

понимаем... И понравилась мне Ольга. Да во всей округе больше такой невесты не будет. Волосы русые — заглядение, стройная — глаз радуется, и скромная, кажется. Что еще надо?

— Ну, вот и я,— вошла в избу Ольга. В одной руке у нее было ведро с пивом, в другой — чыгыт на специальной липовой доске, и сейчас служащей еще в деревнях вместо подноса.

— Помоги, или не видишь — тяжело ведь,— велела Василиса Алтиеру.

Алтиеру только того и нужно было. Взял у Ольги ведро с пивом, коснувшись ее руки, отнес его в чулан и вернулся.

— Спасибо,— проговорила Ольга, и теперь уж Алтиер мог не отходить от нее на полном основании — он помогал ей. Ольга что-то прошептала ему на ухо, и лицо у него так все и расцвело в счастливой улыбке.

Христина Устиновна внесла дрова.

— Ольга! — сказала она дочери, сваливая дрова у печи.— Пойди, позови крестных. Крестный вместо отца будет.

— Хорошо, мама.

Ольга вышла в сени, раз! — никто и не заметил, как это случилось — исчез за дверью и Алтиер.

— Ну вот, вошла я и, как следует по обычаю, села в красном углу,— издали начала Василиса положенный по правилам разговор.— Что хозяйка скажет? Товар, вижу... драгоценный, как шелк... издали блестит. Но и у нас не из плохих... армию прошел, в институте учится, на хорошем счету...

Христина Устиновна улыбнулась:

— Василиса Егоровна! Давайте не будем ходить вокруг да около, давайте говорить

открыто. Вы ведь не через гумно пришли, а через ворота? Если насильно замуж выдавать, времена такие — все равно жить не будут. Если противиться браку — все равно помешать не сможешь. Так ведь? А умное что подсказать — это мы можем, жизнь все-таки прожили. И старшие мои по любви выходили — не перечила. Ни одна еще не жаловалась.

— Вот как славно-то все! — с улыбкой хлопнула себя по бедру Василиса и поднялась. — Одинаковые у нас с вами, значит, понятия. И договорились, выходит, дальше и толковать об этом нечего. — Она открыла свою кожаную сумку и достала из нее оставшиеся от дороги пироги, ватрушки, громадный, величиной с волейбольный мяч, шыртан. — Попробуем давайте и нашего гостинца.

— Ой, зачем вы! — всплеснула руками Христина Устиновна. — К нам в гости, да со своим угощением...

— А это чтобы всегда у наших детей стол богатый был, чтобы никогда на нем еда да яства всякие не переводились, — сказала Василиса. — Дальше своим достатком жить будут, так чтобы понимали, что жизнь добрая да радостная не от одного кого-то в семье зависит, а от обоих.

— Прекрасные слова, — проговорила Христина Устиновна. — Жаль, не при них сказаны... Да они, впрочем, такие... сами все понимают!

Она плеснула пива в нагревшийся на огне котел, и тот зашипел, распространяя по избе вкусный солодовый запах. Густая, как сметана, пивная пена поднялась до краев котла.

Так, оказывается, подогревают холодное, из погребца, пиво в Улмалуе.

Со двора донесся счастливый, веселый смех. Возвращались Ольга с Алтиером.

И, услышав этот смех, Василиса, неожиданно для самой себя, прослезилась. Но она не стала вынимать платок, вытирать эти слезы — ведь они были слезами радости. Так они и текли у нее по щекам, горячие и соленые, такие же, как всякие другие слезы.

— Благословляю их, — только-то и смогла она выговорить.

Христина Устиновна перелила пиво из котла в жбан и до краев наполнила две стопки. Сверху стопок поднялись две маленькие круглые шапочки пены.

— Гляди-ка, Василиса Егоровна, — радостно сказала Христина Устиновна, подавая Василисе стопку, — красота-то какая. Ну, за их счастье?

— За счастье! — подняла Василиса стопку.

Скрипнула дверь — задержавшиеся чего-то во дворе Алтиер с Ольгой вошли в дом.

О, дорога двадцатого века! Куда ты только не заводила нас, каким испытаниям не подвергала... Что ты нам приготовила впереди? Но как бы ни был труден путь, с какими бы сложностями мы ни встречались, раз ясна цель, раз определена она — мы сможем преодолеть все преграды, одолеть все невзгоды. Залогом тому — все прожитые нами прежние годы, все нами сделанное, все достигнутое.

О, дорога счастливого века! Пусть вечно манит и манит нас твоя даль!..



**Рассказы**

---



## Тетя Праски

— По селу говорят, тетя Праски на родные места поглядеть приехала, — сказала мать. Она только что пришла с колодца и ставила ведро с водой к чугуну возле печки.

Я не понял.

— Какая тетя Праски?

— Да ты что?.. — выпрямляясь, с обидой протянула мать. — Да та, что за четыре дома от нас жила. Еще ты с ребятишками ее все играть ходил. Ну, та, что троих детей усыновила.

А, вон кто... это надо же! Да ведь около двадцати лет с той поры минуло. И около тридцати лет мы не виделись. С того самого времени, как она уехала из нашей деревни. Сколько воды утекло... Я успел обзавестись семьей, уже мой младший сын в школу ходит.

Сколько воды утекло... Но, что ни говори, удивительная все-таки штука время. Вроде бы и давно все это было, а вместе с тем — и недавно: так и оживают перед глазами те давние годы...

Тетей Праской ее звали, ну да. Тетей Праской... Я тогда в пятый класс ходил.

Муж ее, как и наш отец, был на фронте. Да у всех, считай, отцы и мужья были на фронте, всех здоровых нестарых мужчин позабирали на войну.

У тети Праски было четверо детей. И мал

мала меньше. Старшему — шесть лет, а младший еще в зыбке качался, перед самой войной, в мае месяце родился. «Еще ты с ребятишками ее все играть ходил», — сказала мать. Точно, ходил. Тетя Праски все, бывало, просила меня: «Ты уже большой, а мои-то еще несмышлениши, ты уж заглядывай к ним, присматривай за ними, что да как». У нас у самих полон дом «несмышленишей» был, но мать просьбу тети Праски только поддерживала. «И в самом деле, заглядывай, не ленись, — говорила она. — Ноги у тебя сбегать туду-сюда не отнимутся. А тете Праски в поле тогда работать спокойнее». Я и не отказывался. Мать за порог, я всех своих братьев и сестер собираю — и в дом к тете Праски. Или же ее ребятишек веду в наш дом. И в яслях, наверно, такого шума не бывает — галдели же мы! Кто-то и заплачет, не поделят что-то. Но в игре слезы быстро высыхают, вот уж вместо плача — снова смех.

А в следующем доме жила бабушка Уксюк. Так ее все звали в деревне — бабушка Уксюк. Жила она вместе со своим единственным сыном Яковом, он уже был взрослый, и скоро его, как и других мужчин, призвали в армию.

Вместе с мамой я увязался провожать Якова. Был уже октябрь, дни стояли холодные, не переставая моросил дождь. По утрам землю схватывало морозом, выпадал иней, а днем размораживало, под ногами месилась грязь. В полях копали картошку. Нас после уроков тоже выводили на поля, и мы работали рядом со взрослыми.

У околицы все, вышедшие провожать Якова, стали прощаться с ним. «Живым и здоровым тебе вернуться», — говорили женщины. Ба-

бушка Уксюк поехала с Яковым на лошади до города.

А из города она приехала с семьей эвакуированных. Помню, мы только сели за стол, чтобы ужинать, как дверь раскрылась и в дом торопливым шагом вошла бабушка Уксюк.

— Прости, не вовремя я, — сказала она маме, — да видишь ли... Людей я привезла из Канаша. Привезла — да они меня не понимают, а я их. Женщина к тому же больная видно... Пошла к Праски — нет ее, одни дети дома, с работы еще не вернулась, что ли... Тогда я к тебе решила. Дай мне, пожалуйста, молока миску. Мясо, яички — это у меня есть, а вот миску молока бы...

Говорила она быстро, сбивчиво и несвязно.

— Им сейчас теплого молока пуще всего нужно... А завтра я им баню истоплю... В Канаше-то прямо на улице у вокзала сидели. Дождь, ветер — сидят... Ребенок плачет... Не выдержало у меня сердце — посадила. Привезла... Да, чуть не забыла ведь, за чем еще-то пришла. Ты пошли-ка Петюка-то ко мне. Он по-русски понимает немного. Пусть спросит у них, что им нужно. А то я с ними, как немая... разговариваю на пальцах...

Мать налила в миску парного, только что из-под коровы, молока и велела идти мне вместе с бабушкой Уксюк.

В избе у бабушки Уксюк горела керосиновая лампа. От истопленной еще утром печи исходило тепло, и, видимо, сморенные этим теплом, на широкой лавке у стены, голой, ничем не застеленной, спали, свернувшись калачиками, двое малышей. Мать их сидела рядом, с младенцем у груди, ребенок сосал и пючки-

вал. Увидев нас, она попыталась улыбнуться. Улыбка у нее вышла смущенной и слабой. Грудь она не прикрыла, только подняла повыше и прижала к себе ребенка.

— Говори, спрашивай, ну! — поторопила меня бабушка Уксюк.

Робея и стесняясь, я начал говорить по-русски.

Но женщина оказалась вовсе не русской. Она была с Украины, и звали ее Оксаной. А детей ее, которые спали на лавке, звали Олесям и Одаркой. Ребенка же, которого держала на руках, женщина назвала хлопцем, а имя его было Ивасик.

— Ты, Петюк, насчет еды, что они едят, разузнай,— собираясь кипятить молоко в котле, попросила меня бабушка Уксюк.

— Шо вона пытае? — спросила Оксана.

Я стал обстоятельно объяснять ей, что бабушка Уксюк хочет знать, что они будут есть. Показал даже на печь — в котле, мол, молоко, бабушка Уксюк собирается его кипятить.

Измотанная женщина снова слабо улыбнулась. Я подумал, что ей, может быть, больше всего хочется сейчас лечь, но она стесняется.

— Петюк, будь как хозяин,— сказала мне бабушка Уксюк.— Перину вон расстели, переложи детей, что ж они на голой доске спят... Может, они месяц целый на мягком-то не лежали, сидя да стоя дремали...

Бабушка Уксюк слезила в подпол, достала картошку, а я расстелил перину и переложил на нее Олеся с Одаркой. Оксана положила Ивасика рядом с ними, сняла с них ботинки и чулки, и мы вместе с нею укрыли их всех ватным одеялом.

Оксана направилась к бабушке Уксюк.

— Давайте я вам картошку помогу чистить,— сказала она, и в это время ее качнуло, она еле успела прислониться к печке.

— Да ты ложись, дочка, ложись,— разволновалась бабушка Уксюк. Она даже привстала со своего места.— Давай-ка, Петюк, уложим ее вместе с детьми. Когда молоко вскипит, обед сварится, тогда и разбудим... Скажи-ка ты ей об этом.

Мы уложили Оксану на лавку, и она тут же уснула.

...Ночью бабушка Уксюк прибежала к нам снова.

— Ой, соседка, соседка...— Бабушка Уксюк чуть не плакала.— На свою голову, видно, я привезла... Праски уж у меня сидит, позвала я ее. Фельдшера, говорит, надо. Теперь вот к тебе... Может, пошлешь Петюка к фельдшеру? Коня запрягать надо, я-то сама как...

— Что еще у тебя стряслось? — одеваясь, спросила мать. Видимо, она сразу поняла, что у бабушки Уксюк случилось что-то из ряда вон выходящее.

— Да с женщиной, что я привезла, совсем плохо... Бредить начала. Всей еды — молока полстакана выпила, и все... Вся красная стала. Лоб горячий... Боюсь, как бы самое плохое не случилось.— В голосе бабушки Уксюк были испуг и тревога.— За сына вот все переживаю — что да как, а тут еще одно горе на мою голову...

— Петюк! — позвала меня мать.— Вставай, приведи коня с конюшни. Телега во дворе стоит. Запряжешь потом.

Фельдшер жил в соседней деревне. Он был уже старый, за шестьдесят — не меньше, вдо-

бавок ко всему хромой, поэтому его и не взяли на фронт. Как ему добираться до нас, ночью, по такой-то грязи? Ясно, что без коня не обойтись.

Я оделся, схватил узду и побежал на конюшню.

Спустя некоторое время с фельдшером вместе я подъезжал к дому бабушки Уксуя.

У Оксаны не было даже сил, чтобы открыть глаза. Веки у нее чуть-чуть приподнимались и тут же опускались. Щеки были, как спелая малина.

Фельдшер сунул ей под мышку градусник, вынул из сумки вещь, похожую на рога, и вставил концы рогов себе в уши. От рогов отходили резиновые трубочки, соединенные черной толстой пуговицей. Фельдшер расстегнул Оксане ворот рубашки и приложил пуговицу ей к груди. Послушал. Потом попросил Праски и мою мать перевернуть Оксану на живот и послушал ее черной пуговицей несколько раз на спине.

— Воспаление легких, — сказал фельдшер после этого. Он обмотал резиновые трубки вокруг рогов и убрал рога в сумку. — Лечить надо... Пусть ваш сын, — повернулся он к матери, — еще раз со мной съездит. Есть у меня в запасе немного лекарства, дам ему... — И вздохнул: — В Канаш, в больницу бы ее... да куда ж по такой погоде, хуже только сделаешь...

Я отвез фельдшера в его деревню, получил от него лекарство и вернулся домой.

Оксане легче не стало — ни завтра, ни послезавтра. На третий день, когда я зашел справиться о ее здоровье, слабым движением руки она подозвала меня поближе и, приподнима-



ясь на локтях, проговорила задыхающимся голосом:

— Слушай, парубок Петро, запомни... Мужа моего зовут Иваном Федоровичем Гармашом. Иваном Федоровичем Гармашом, запомни... Детей моих... детей моих, прошу вас, не бросайте, вырастите...

Силы оставили ее, она откинулась на подушку и закрыла глаза. Грудь у нее судорожно поднималась и опускалась, дыхание было частым и жестким.

На следующий день на рассвете Оксана закрыла глаза навсегда.

— Будь ты проклята, война... будь ты проклят, Гитлер, будь ты проклят, кровопийца!.. — в бессильной ненависти выговорила бабушка Уксюк, складывая умершей руки на груди.

Я находился тут же, сидел рядом, чтобы, если понадобится, быть переводчиком, и при этих словах бабушки Уксюк не выдержал, заплакал.

А дети Оксаны спали крепким утренним сном. Скоро должен был проснуться Ивасик. Он проснется — и потребует грудь...

Оксану Гармаш мы похоронили на нашем деревенском кладбище. На могилу поставили дубовый крест, вывели на кресте, согласно записям в ее паспорте, полностью фамилию, имя, отчество, дату рождения и, чего уже не было в паспорте, дату смерти.

...Дня через четыре, вечером, бабушка Уксюк снова зашла к нам. Она была вялая, угрюмая, в голосе ее, когда она поздоровалась, прозвучали слезы.

— Ты часом не заболела ли? — мягко спросила ее мать.

— Да у старого человека болезнь какая-ни-

будь всегда найдется... не в этом дело... — бабушка Уксуяк углом платка вытерла углы глаз. — Ксаниных детей Праске я отдала, вот что... Она предложила, а я не противилась. Что ж, говорю, забирай... Забирай, говорю... Малютке-то грудь нужна. А Леся с Даркой обнимут его, друг к дружке прижмутся и сидят день-деньской в углу. Идите обедать, позову. Не идут. На стол поставлю, сама во двор выйду — так поедят немного. Они-то поедят, а малютка-то что? Ой, лихо... Пошла к Праски, своего-то она еще кормит, дай, говорю, свою грудь сосать, помрет ведь Ивасик... Пришла. А Леся с Даркой не отдают его. Ну, додумалась она грудь вынуть — тогда отдали... И снова в уголке сидят, прижавшись друг к дружке... Вечер наступил, смотрю — Праски сама ко мне... Давай, говорит, заберу, пусть вместе будут. Четверо, мол, или семеро — какая разница, все одинаково ходить за ними. Я и отдала... Старая уж, одиноко в доме, мне бы с ними веселее было... да вместе, что говорить, конечно, лучше. В другом доме и горе свое, глядишь, быстрее позабудут... Позабудут, дети есть дети... Что им надо, сыты да одеты-обуты были бы...

Она снова вытерла глаза концом платка и глубоко вздохнула.

— Трудно будет Праски, — сказала мать, помолчав. — Трудно... — Помолчала еще и добавила: — Ладно, в деревне и воробей с голоду не помрет. Ты зернышко подкинешь, я подброшу — как-нибудь подсобим всем миром.

...И снова пошла прежняя жизнь. Наши матери, наши сестры, тетки, бабушки целыми днями на работе — в поле, на ферме... как только выдерживают. Ну, а мы, ребята, стараемся

дома по хозяйству управиться, и за скотиной ухаживаем, и супы варить научились. Мать придет вечером — вкусный, говорит. Тетя Праски утром на работу идет, заскочит к нам, попросит меня, как и раньше: «Ты уж, Петюк, поглядывай за моими, несмышлениши ведь еще».

Шумно теперь у нее в избе. И раньше было не тихо, но теперь против прежнего вдвое шумнее стало. В зыбке рядом с Маюком Ивасик лежит. Уходя, тетя Праски готовит молоко для двоих. Точнее, это не совсем молоко. В настоящее молоко она добавляет кипяченой воды и бросает туда кусочек сахара. Потом переливает это в бутылочку и надевает на горлышко ее соску. На конце соски — маленькая, незаметная дырочка, проткнутая иглой. И вот мы даем по очереди сосать из бутылки то Маюку, то Ивасику. Когда, случается, они заплачут, начинают плакать и все остальные, и такой рев стоит тогда в доме!.. Но всякий плач конечно же рано или поздно кончается, и возобновляется прежняя веселая возня.

Мало-помалу, глядя на детей тети Праски, стали и Оксанины ребятишки называть ее мамой. Потом, незаметно-незаметно, стали и почувашски говорить. И месяца через два-три говорили по-чувашски — как ручеек журчит, будто они в нашей деревне и родились.

Весть о том, что тетя Праски взяла на воспитание троих детей, быстро облетела деревню. И много было всяких судов-пересудов по этому поводу. Разные все-таки люди есть. Привезли ей по указанию председателя колхоза подводу дров, злые языки и это событие тут же обсуждать стали: ну-ну, мол, сегодня ра-

дось, а завтра все равно муки. Но — прошло некоторое время, и все разговоры стихли. Словно бы и не брала никаких чужих детей к себе в дом тетя Праски. Словно бы все, с самого рождения, так и были ее собственными. Ко всем, как своим, так и чужим, относилась она совершенно одинаково. Никто от нее никогда не слышал, чтобы она говорила: «Это мои, а это — Оксанины».

И все до единого чистые и ухоженные. «Хоть в заплатках, да лишь бы не в рваньё», — говорила тетя Праски.

А жизнь шла, не стояла на месте. Вот уже пришла весть, что под Москвой фашисты остановлены и даже отброшены от нее. Ох, как радовались в деревне этой вести. «Оторвали гитлеровской змее хвост, скоро и голову снесут», — только и было слышно. Слово «победа» было словно разлито в воздухе.

Но... Перед самыми Майскими тетя Праски получила письмо в конверте. Треугольники, те всегда приносили радость. Треугольник — значит, жив, ранен может быть, в госпитале лежит — но жив! Письма же в конверте приносили всегда одно и то же: официальный бланк с написанным от руки кратким текстом: «...пал смертью храбрых».

Прочитав письмо, тетя Праски накинула на плечи платок, вышла во двор и долго просидела там. Ни к чему детям видеть ее слезы...

— Совсем Праски-то с лица спала, — говорили женщины между собой. Но в глаза всегда хвалили ее за терпение и мужество. Хвалить-то хвалили, а как оставались одни, снова начинали вздыхать: — А ну, как у этих детей ни отца, ни кого другого не найдется?..

В сельсовете, узнав, что Праски получила похоронную на мужа, предложили ей устроить приемных детей в детдом. Но тетя Праски не захотела даже об этом и разговаривать. «Да вы что,— сказала она с обидой, когда пришли к ней с этим предложением.— Где это видано, чтобы мать своего родного ребенка отдавала куда-то? Я ж его все-таки грудью кормлю, так разве он мне не родной?»

И снова все пошло по-прежнему. Время — хороший доктор. Оно излечивает даже такие раны, которые казались неизлечимы.

Вот Маяк с Ивасиком начали уже ходить. А начали ходить — самое трудное, считай, позади.

Старшие ребяташки пол подметают, моют. Один подметает — другие за ним с тряпкой идут. В небольших ведерках воды натаскают в кадушку — и потом на соревнование грядки с огурцами и капустой поливают. А то в лес сходят, по оврагам, по опушкам нарвут травы для скотины и в мешках домой принесут. Тетя Праски из сил выбивается, а корову держит. У нее на это такая приговорка есть: «Пусть во дворе никакой другой скотины не будет, а коровьи следы исчезать не должны». Масло, правда, государству надо отдавать. Но пахтанье остается, суп с клецками, похлебку можно сварить. А картофельное пюре с молоком — это же так вкусно!

Что говорить, ножки у столов от изобилия еды не подгибались. А блины из крахмала, когда горячие, казались прямо пшеничными...

Пришла похоронка и в дом бабушки Уксюк. Единственный ее сын Яков сложил голову, защищая Сталинград. Превозмочь обрушившееся

на нее горе бабушка Уксюк не смогла. Она стала буквально таять на глазах. Через три месяца слегла — и больше уже не поднялась.

А война между тем продвигалась все дальше и дальше на запад.

И вот прозвучало долгожданное слово «Победа».

В тот день я был в поле, вышел оборонить пашню вместо матери, оставшейся дома печь хлеб. Высоко в небе звенели жаворонки. Грачи ходили по полю за бороною, склевывая червяков. Чудесно было вокруг!

Но вдруг чей-то далекий крик нарушил этот покой. Кричали громко, во весь голос, не смолкая.

«Что такое? Что бы это значило? Может быть, пожар где-нибудь? Может быть, я в селе нужен?» — подумалось мне с тревогой.

Скоро я увидел, однако, летящего по дороге всадника. Он приблизился, и я узнал старшего сына тети Праски, Костю. В поднятой над головой руке у него развевался пионерский галстук. И можно было теперь разобрать, что он кричит. «Побе-е-да! — кричал он. — Побе-е-да!» И был теперь во всем поднебесном круге один только его крик.

— Распрягай коня и лети к сельсовету! — остановился он возле меня на минуту. — Победа!.. Митинг будет. Я в деревню к нам, сообщить надо!

И снова помчался по дороге, только запузырилась на спине туго стянутая брючным ремнем рубаха.

Никогда в жизни не видел я до того, чтобы люди так радовались. Четыре года они работали, ожидая этого дня, работали без отдыха, пе-

ресиливая усталость и подступавшее отчаяние,— и вот дождались. У многих улыбка и смех сменялись слезами горечи, но это были не долгие слезы, на смену им скоро вновь приходило веселье.

Люди дали волю душе. Как звенела, заливалась гармошка! Кажется, до этого дня я не слышал, чтобы звуки ее были так чисты и звонки. Она так и звала, так и приглашала вступить в плясовый круг — и танцевать, танцевать до изнеможения.

До поздней ночи веселились в этот день люди.

А после окончания сева был у нас в деревне проведен акатуй\*. На акатуе было много мужчин в стянутых скрипучими ремнями гимнастерках и галифе. Ордена и медали звенели у них на гимнастерках, как шюльгеме\*\* на груди у девушек. И этот праздник тоже был полон песен, шуток и смеха — гулял народ-победитель.

...У детей тети Праски нашелся отец. Приехал за ними, сказала мне однажды мать, когда я вернулся из школы. Я учился уже в десятом классе, и мне уже сравнялось семнадцать.

— Какой отец? — не понял я. — Их отец ведь погиб.

— Да нет, — тоном упрекнула меня за недогадливость мать. — Нет, Олеся и Одарки отец, муж Оксаны...

— А-а... — До меня наконец дошло. Так давно уже это было — сорок первый, появление семьи беженцев в доме бабушки Уксюк...

\* А к а т у й — праздник завершения весеннего сева.

\*\* Ш ю л ь г е м е — женское украшение из монет типа бус.

и Олеся, и Одарку, и Ивасика мы давно уже считали просто детьми тети Праски. Мы даже думать забыли, что они ей не родные. У того-то трое детей, у того-то четверо, а у тети Праски — семеро, да и все...

Я наскоро придумал какой-то повод, чтобы зайти к ней, и пошел. Взошел на крыльцо, открыл дверь. Поздоровался.

За столом в передней части избы сидел мужчина в гимнастерке. Вся грудь у него была в орденах и медалях.

— Это сынок нашей соседки, — сказала тетя Праски по-русски. И как-то торопливо добавила: — За детьми он присматривал, играл с ними...

— Очень приятно, — сказал солдат, протягивая мне руку. — Проходите, присаживайтесь. Я пожал ему руку и поздравил с приездом.

— Спасибо, — поблагодарил он и представился: — Иван Хведорович.

Я вспомнил Оксану. Она тоже, называя его имя, произнесла «ф» как «хв». Оказывается, так говорят все украинцы.

— Петр, — представился я в свою очередь Ивану Федоровичу.

— Хорошо, хорошо... — Он хотел сказать что-то еще, но не сказал. Только поднялся и, заложив руки за спину, начал ходить по избе взад и вперед.

— Дети его не узнали, — с горестным чувством сказала мне тетя Праски. — Они ведь теперь-то даже говорить по-русски не умеют. Чтобы не забылся язык, надо было на нем разговаривать, а откуда время возьмешь... — Она привычно обратилась ко мне по-чувашски и тут же спохватилась, что в избе есть человек,



который нас не понимает.— Ой, простите пожалуйста,— сказала она Ивану Федоровичу.— По-своему все говоришь да говоришь, кажется, что и все понимают.

— Ничего, ничего,— улыбнулся Иван Федорович,— не волнуйтесь. Ничего плохого вы не говорите про меня, в этом я не сомневаюсь.— Понимаешь, хлопец...— неожиданно посмотрел он на меня.— Вот приехал. Приехал... а дети мои не хотят признавать меня. Праски их мамка! Паша, значит, по-нашему, Прасковья... Да-а... Ордена мои да медали только их и привлекают. Да и то не очень. Побежали вон играть, с собой не позвали...— На глазах у него появились слезы.— Простите...— пробормотал он, отворачиваясь и вынимая из кармана платок.— Негоже солдату распускать нюни.— Он вытер слезы, прошел к своему месту за столом и сел.

Тетя Праски поставила на стол жбан с теплым пивом и, налив полный стакан, поднесла его Ивану Федоровичу. Он взял его и залпом осушил до дна.

— Вот как,— показала мне тетя Праски пустой стакан.— Это у нас обычай такой,— объяснила она Ивану Федоровичу.— Когда гость выпьет до дна, хозяин показывает стакан остальным гостям.

— Хороший обычай,— отозвался Иван Федорович.— И у нас такой же есть...— Он говорил подчеркнуто спокойно — старался не показывать больше свою боль.

— Не надо торопить время, Иван Федорович,— ласковым голосом сказала тетя Праски.— Пожить надо. Поживете рядом — и привыкнут. Начнут и «папой» звать. Не надо толь-

ко торопить время — и все встанет на свои места...

Я понял, что и у тети Праски на душе весьма не спокойно. Сколько лет одною семьей росли дети, между собой сроднились, она их родными давно уже чувствует, как теперь расставаться с ними? Это ведь словно сердце на две части разрезать.

— А и в самом деле, живите здесь, Иван Федорович! — встрял я в разговор. — Места у нас отличные, красивые...

— Посмотрим, посмотрим, — только и смог сказать Иван Федорович. Помолчал и вздохнул глубоко: — Ох, сколько времени раны свой народ залечивать будет...

Он остался жить у тети Праски. Без дела ему не сиделось. Пока землю не схватило морозом, заменил гнилые столбы у плетня.

Он возился со столбами, а тетя Праски зовет детей и пошлет их к нему.

— Давайте, помогите отцу, пока я обед варю, — говорит она.

А детям что? Это игра для них — новый плетень ладить! Иван Федорович засыпает яму землей, а они столб держат. Потом утрамбовывает землю вокруг столба, а они все держат.

— Молодцы! — говорит Иван Федорович, закончив работу. И закатывается веселым, довольным смехом. — Ну, какие вы молодцы, ребята, — еще один столб поставили!

Дети тоже довольны — серьезная работа им доверена! Галдят, смеются...

Через некоторое время начал Иван Федорович с ними по-чувашски немного разговаривать. И это им, видимо, очень понравилось. Первым произнес слово «папа» Ивасик.

Тетя Праски с Иваном Федоровичем присели после тяжелого рабочего дня на крыльце, он все крутился, крутился возле них да вдруг и спросил:

— Ты, мама — мама, а ты — папа. Да ведь?

Это было так неожиданно, что оба они растерялись. Что сказать ребенку? Сказать правду, так, как есть? Но если он всегда считал матерью тетю Праски, как можно сказать ему — нет?

— Д-да... она мать, а я папа... — запинаясь, ответил Иван Федорович. И никак по-другому сказать он не мог.

— Мама, это так, да?

— Так, сынок, так, — с улыбкой сказала тетя Праски.

У Ивасика оказалась легкая рука. Мало-помалу и все остальные дети стали называть Ивана Федоровича «папой». Только самый старший сын тети Праски, Костя, не называл его никак. Он сделался задумчивым, грустным, стал сторониться и Ивана Федоровича, и мать.

Иван Федорович вовремя заметил, что с Костей творится неладное.

— Надо тебе поговорить с ним, — сказал он Праски. — Ты мать, тебе ловчее. Поговори, расскажи всю правду.

Долго Праски не могла подступить к этому разговору, но однажды все-таки начала.

— Костя, ты уже большой... — начала она.

Костя мгновенно все поняв, перебил ее.

— Мама, он же не отец нам! — закричал он. — Если бы он был нашим отцом, он бы говорил по-чувашски! Он же нам не отец, так почему же мы должны называть его папой? — В глазах у него стояли слезы.

— Об этом я и хочу поговорить с тобой, — вздохнув, сказала тетя Праски. — От тебя, сынок, я ничего не собираюсь скрывать. Он отец Олеся, Одарки и Ивасика. Родной отец. Но если все твои братья и сестры хотят звать его папой, разве можно этому препятствовать? Слово «папа» нужно ребенку. Отец, пока человек ребенок, — самая главная для него опора. Мать спрячет от невзгод под своим крылышком, а отец со своими крепкими плечами поможет преодолеть их. Вот так, Костя... Ты уже большой, ты можешь называть его дядей Иваном или Иваном Федоровичем... но малышам не говори ничего, не ломай их души... — Тетя Праски умоляюще посмотрела на сына, и глаза их встретились.

— Мама! — подался к ней Костя, и она обняла его. — Мама, — сказал он затем, — я буду называть его папой. Я старший, я должен быть младшим во всем примером.

— Спасибо, сынок, — только и смогла сказать тетя Праски.

С того дня Иван Федорович стал отцом для всех семерых. Вскоре после рождества (в те послевоенные годы у нас еще отмечалось рождество) тетя Праски пришла к нам поговорить с моей матерью. Частенько они в трудные минуты обращались за советом друг к другу.

— Послушай-ка, соседка, какое дело, — сказала тетя Праски. — Пожениться предлагает мне Иван Федорович-то. Ты, говорит, для всех семерых мать, ты всех подняла, дала их крыльям окрепнуть, а я, говорит, для всех семерых отцом стал — как, говорит, одно гнездо пополам разрежем? Совсем я измучилась, не

знаю, что делать. Еще раз замуж выходить, что ли? Так не молодая уж замуж-то выпрыгивать...

— А он что, парень, что ли? — вопросом на вопрос ответила моя мать. — Вы ведь даже одногодки, по-моему. Так? А он верно сказал, как гнездо рушить? Что порушено — то уж в порядок не приведешь.

— Так что же это, при детях прямо свадьбу играть? — потерянно спросила тетя Праски.

— Вот беда! — всплеснула руками мать. — Неужто до сих пор никакой хитрости не придумала? День рождения отметьте. Его или твой. Или даже кого из детей. Вот и вся проблема. — И добавила с твердостью: — Я вам на празднество миску яиц принесу — все помощь. Идите давайте и расписывайтесь, и нечего больше голову над этим ломать.

Лицо у тети Праски осветилось улыбкой.

— Ладно. Как ты сказала, так и сделаем. Спасибо тебе за совет.

И через две недели мы отмечали день рождения Кости. Мать принесла к столу миску яиц. Пришли и другие соседи, пришел и председатель сельского Совета.

Провозгласили тост за Костины успехи, здоровье, пожелали ему всего самого доброго. А потом, следом, подняли тост и за Костиных родителей: «Желаем вам жить в дружбе, любви и согласии, счастья вам и здоровья, много вам радостей». Тетя Праски с Иваном Федоровичем переглядывались, и глаза у обоих сияли.

А Костя тоже сидел за столом счастливый — ему, как взрослому, отмечали день рождения.

Праздник кончился — и начались будни.

Тетя Праски и Иван Федорович все так же работали в колхозе, не отказываясь ни от какого наряда. Кончилась зима, наступила весна.

По весне, когда закончилась посевная, Иван Федорович повез всю свою большую семью посмотреть на его родные края.

Прошел уже месяц с лишком, они все не возвращались, и тут мать получила с Украины письмо.

— Прочти, сынок,— попросила она меня.

Я раскрыл конверт. На вырванном из тетрадки листе в полоску было написано крупными прыгающими буквами:

«Здравствуйте, дорогая соседка!

Во первых строках своего письма шлю тебе привет с солнечной Украины. Желаю тебе, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Петюк, наверное, закончил уже десятый класс? Если хочет дальше учиться, не препятствуй. Пусть учится. Родине сейчас очень нужны грамотные люди.

Вот что хочу тебе сообщить, соседка. Решили мы остаться здесь. Очень сейчас требуются Украине рабочие руки. Хутор Ивана Федоровича фашисты почти дотла сожгли.

Мы уже начали строить дом для своей семьи. И дети помогают. Я устроилась работать свинаркой.

Коллективно, всем народом, думаю, залечим раны войны и будем жить в сто раз богаче и лучше, чем до нее.

Мы там посадили картошку, соседка. Будет у тебя возможность, достанет сил — окучь ее в нужную пору, а осенью выкопай и убери в свой погреб. Детей у тебя тоже

ведь предостаточно, не помешает. А может, свинью выкормишь. Или государству продашь. Картошка — второй хлеб, так ведь.

Дети у нас все живы-здоровы. Привыкли уже к здешней жизни — храбрые. Они шлют вам салям.

До свидания, желаем здоровья и благополучия в жизни. Односельчанам передай от нас братский привет.

### *Праски»*

И вот — тридцать лет минуло с той поры. Я уже давным-давно закончил сельскохозяйственный институт. И уже восемнадцать лет работаю агрономом в родном своем колхозе...

Тетя Праски остановилась в доме двоюродной сестры. Дверь в избу была открыта — лето. Но все же я постучался.

— Проходите, проходите пожалуйста, — услышал я голос из глубины дома. И сразу узнал его — он совершенно не изменился за эти годы. Голос тети Праски.

Я переступил порог и вошел. Передо мной стояла по-городскому одетая пожилая женщина.

— Здравствуйте, тетя Праски, — сказал я, протягивая руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, — улыбаясь, проговорила она. — А только вот что-то не узнаю я...

— Соседского Петюка помните?

— Иди ты, иди ты, ну тебя! — замахала она руками. — Хоть убей — не узнала бы. Посмотрите-ка вы на него, в экого хлопца вымахал!..

— А вы почти не изменились. Будто и не уезжали от нас.

— Ой, ну что ты, Петюк... Простите,— поправились она,— что вы, Петр Кирилыч...

— Нет, не Петр Кирилыч,— засмеялся я.— Вы для меня тетя Праски, а я для вас — Петюк.

— Да ты меня прямо на тридцать лет омолодил,— смущенно прикрывая рот рукой. засмеялась и тетя Праски.— А у меня уж и меньшая дочь замужем. Семеро внучат...

— Что ж, самая пора омолодиться,— сказал я.— А младший самый, Ивасик, значит еще с вами живет?

— Нет, Петюк... Он у меня не младший. Я ведь, как уехала отсюда, еще двух девочек родила. Вот как. Ой, что и говорить... три выводка вырастила. Всех в люди вывела. Отец вот только последнее время что-то сдавать стал. Старые раны о себе знать дают. Не для войны рождаются люди, для мира... Хороший он человек. Очень я судьбе благодарна, что встретила с ним... А твоя-то вон мать одна вас растила, в люди выводила,— горестно вздохнула тетя Праски.

— Ладно, что вспоминать о прошлом, что было, то быльем поросло,— сказал я, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей.

— Да ведь это само собой выходит, что вспоминается,— снова вздохнула тетя Праски.— Мать-то как, здорова?

— Да ничего, не сдается пока. Тоже с внуками воюет.— Я улыбнулся.— Приходите к нам вечерком. Посидим, как в старые времена, о жизни поговорим.

— Что ж, спасибо. Зайду. Есть нам о чем поговорить. Сейчас вот оглянешься назад — а неплохая все-таки была жизнь, много в



ней доброго было. Знаешь, как на Украине, в хуторе нашу семью называют? «Дружбой народов». Да. А на собрании говорят: «Вот пример дружбы народов». — Она довольно улыбнулась, и на щеках у нее прорезались прежние, молодые ямочки.

С улицы послышался скрип открывшейся калитки. Через мгновение в дом входили уже две женщины, старые подруги тети Праски.

— Проходите, милые, проходите, — радостно пригласила их тетя Праски.

Они не виделись тридцать лет, вместе они вынесли тяготы войны, все беды ее, все напасти, они были людьми одной судьбы, и сейчас им тоже хотелось скорее сойтись вместе.

Одна из женщин достала из-под фартука бутылку красного вина:

— За встречу, Праски, и тост поднять не грешно?!

О, односельчане мои, кровь моя!.. Да пребудет во веки веков так же крепка ваша дружба, как в те тяжкие годы испытаний. Она — как сок земли, дающий жизнь деревьям и травам, ибо без нее не достало бы нам сил выстоять и победить, и разве смогла бы вырастить, поднять на ноги три свои «выводка» простая чувашская женщина тетя Праски?!

Родник  
под ветлами

Василий Егорович ушел из клуба с середины собрания. И как это его угораздило сесть рядом с этим длинноязыким Игнатием? Известно ведь, что не язык у того, а ботало, обязательно что-нибудь ляпнет...

Собрание только начало разгораться. Сначала все шло ровно и гладко, потом кто-то бросил слово, что нет порядка в колхозе, другие поддержали, и пошел разговор. Вон один из шоферов по пьянке на дерево налетел, теперь машину в капитальный ремонт отправлять надо. А среди трактористов не редкость, что кто-то два, а то три дня в самую страдную пору на работу не выходит... Василий Егорович и не заметил, как на трибуне оказалась его сноха Галя. Увидел только, когда она уже стояла на ней. Стояла — и от волнения, что выбралась один на один с целым залом, никак не могла начать говорить. Откашливается все да откашливается — а начать не может. Наконец выговорила:

— Товарищи!

А голос-то так и дрожит. Чего, спрашивается, вылезла, если смелости не хватает?

— Товарищи! — повторила Галя, и дальше речь ее зазвучала как по-писаному. — Может, мне и не очень удобно выступать, я в вашем колхозе недавно...

— Хоть и недавно, а пора уже привыкнуть говорить «наш колхоз», — поправил ее кто-то из президиума.

Галя покраснела, но не смешалась.

— Да, наш колхоз... Так вот: хотя я в нашем колхозе недавно, но я все-таки решила выступить. Новому человеку, знаете, многое лучше видно. И хорошее, и плохое. А вы, быть может, кое к чему плохому пригерпелись, не замечаете, а то и прикидываетесь, что не замечаете. Я, знаете ли, не против, чтобы человек выпил — в гости все-таки ходим друг к другу, праздники отмечаем — но знай же меру!..

И пошла, и пошла, все, что думала — все высказала. Некоторые, кто за собой какие-то проступки знал, головы попустили, попригибались, за спины впереди сидящих спрягались — не увидит, мол, так не вспомнит, может. В самом деле, ославят тебя вот так при всем честном народе, так твои же друзья-товарищи смеяться потом будут.

Долго говорила Галя. И никто не останавливал ее, не кричал, как обычно кричат: «Регламент!» А потом будто вдруг запнулась она, помолчала немного и говорит:

— Родных своих вроде бы и неудобно хвалить, но все-таки мне хотелось, никто, я думаю, не осудит меня за это..

«Вот те на. Чего еще выкинуть собралась?» — только и успел подумать Василий Егорович.

— Я про отца своего хочу сказать, — продолжала между тем Галя, и тут уж Василий Егорович так и вскинулся. — Вспомните-ка: сколько лет он в колхозе работает? Но разве хоть раз видели его на работе пьяным? Нет.

Или может быть, как другие, накинулся на кого-нибудь с руганью ни с того ни с сего? Нет. Никому за всю свою жизнь не испортил он настроение, никто на него не может пожаловаться. Василий Егорович честно трудился, старался делать свое дело так, чтобы никто его ни в чем упрекнуть не мог — и в самом деле, только добрым словом, сколько я слышала, поминают его наши односельчане. Так или не так, товарищи?

— Так! Правильно! Знаем дядю Васюка! — зашумело собрание.

— А коли так, значит есть в нашем колхозе с кого пример брать. Или вон рядом с отцом Игнатий Петрович сидит. Тоже про него никто худого сказать не сможет...

Игнатий, услышав, что его хвалят, ткнул Василия Егоровича кулаком в бок.

— Ну, и умница у тебя сноха. А ты все обиды на нее копишь. «Дома собаку голодной оставила, а у чужих суп сварила», говорил такое? — И вздохнул, словно сожалеюще: — Эх, Васюк, Васюк...

Василия Егоровича, радостно смутившегося от невесткиной похвалы, бросило от слов Игнатия в жар. Он и не заметил, как глаза наполнились вдруг слезами. Только почувствовал, что поползла по щеке влага, и, боясь, что Игнатий заметит слезы, пригнувшись, быстро пошел к выходу из клуба:

На улице было по-осеннему прохладно: дул ветерок, и пожелтевшие уже листья на деревьях тихо и нежно шелестели — совсем, как летом. Так шелестит от жара разогретого воздуха мех высушенной шубы у открытого зева печи.

Василий Егорович достал платок и вытер

глаза. И вытирая, подумал, что этот платок положила ему в карман сноха.

Волнение его на свежем воздухе понемногу улеглось, он успокоился и, натянув козырек фуражки поглубже на лоб, направился к дому. Но все же голос внутри его повторял время от времени: «Ох, этот Игнат... Ох, язык... не дал досидеть до конца собрания...»

\* \* \*

Поначалу, придя домой, Василий Егорович долго не мог ничем заняться. Ходил по избе взад и вперед. Не хватало чего-то душе, что-то в ней все было не на месте. На крыльцо вышел, постоял, снова в дом вернулся...

Потом вдруг спохватился. Да надо же к приходу сына со снохой поесть что-то приготовить. Мясо зажарить! «Барский обед». Здорово, наверное, за собрание проголодаются. Да после собрания еще танцы, поди, устроят. Виктору на них точно быть, коли первый гармонист на деревне, и не скоро его отпустят.

Василий Егорович взял эмалированное блюдо и спустился в погреб. Недавно они зарезали барана. Подсолили мясо, чтобы не испортилось, и поставили в прохладный угол. Он выбрал самые хорошие, самые нежные куски.

В избе Василий Егорович промыл мясо, мелко-мелко нарезал его, положил на сковороду и, вылив на нее кружку воды, поставил на электроплитку. Из-за печки из лукошка достал лук, нарезал — приготовил впрок. «Подойдет мясо — положу».

Электроплитка нагрелась, и мясо на сковороде зашипело, заскворчало, вкусный дух поплыл по избе. Уютно стало в избе, хорошо.

«А каким тоном сказал Игнатий...» — снова вспомнилось то, что произошло в клубе.

И неожиданно для него самого перед глазами у Василия Егоровича протекла вся его, как он выписался тогда из госпиталя, жизнь...

\* \* \*

Как ни просился он на комиссии, на фронт Василия Егоровича не пустили.

Вернуться же в родное село казалось ему невозможным. После того как горел в тайке, лицо его стало лилово-серым и бугристое все, как свежевспаханное поле, со шрамами там и сям. А ведь он еще не женат. И кому он теперь приглянуться может, красавец такой? Может быть, правда, и найдется такая, что приласкает его из жалости. Ну да если из жалости, то какие уж тут верность и любовь могут быть? Пожалела, приласкала, предположим, а потом встретился человек нормальный — и все, бросит.

Вот такие мысли крутились у него в голове. Потому и хотел Василий Егорович только одного: обратно на фронт.

Выйдя с вещмешком за плечами из госпитальных ворот на городскую улицу, долго он стоял неподвижно, не зная, что делать, куда податься. Далеко отсюда была чувашская земля — за сотни и сотни километров...

Он устроился в военизированную охрану местного завода, выпускавшего для фронта всякое оружие и снаряды. Как бывшего фронтовика его взяли без всяких проволочек.

Написать о себе в родную деревню Василий Егорович не решился.

И вот пришел, долгожданный День Но-

беды! Улицы города заполнены толпами людей, всюду звучали смех, песни...

Сошедший на землю мир заставил Василия Егоровича вновь задуматься о своем будущем. Что же, так и жить, спрятавшись от самого себя? Спрятавшись от матери с отцом? Ведь они ждут тебя не дождутся, а ты не погиб, остался цел, с руками, с ногами, с головой... Может быть, можно что-то сделать с лицом, чтобы не так бросалась в глаза его обезображенность?

И Василий Егорович стал отпускать бороду. Местами, где лицо обгорело сильнее, она не росла, но волос у него был густой и отрастая закрыл эти проплешины. Когда под бородой исчезло все лицо, Василий Егорович рассчитался, сел в поезд и поехал на родину.

О, родина! О, родительский дом!.. Мать ходила по избе, собирая на стол, вытирая слезы и улыбаясь одновременно. Отец, не желая ронять свое мужское достоинство, помаргивая, все покашливал и покашливал в кулак. По одному, по два, стали сходитьсь в избу соседи. В деревне весть о чьем-либо приезде распространяется с быстротой молнии...

Вот и все, буду жить здесь, решил для себя Василий Егорович.

Дня через три после его приезда мать завела разговор о бороде.

— Сынок, сбрил бы ты ее...— сказала она.— Старше ведь отца смотришься. Не по пьянке же ты обгорел, за родную землю дрался.

Что поделаешь, материнскому сердцу помнится тот сын, которого нянчила, ночи из-за которого не спала, растила, ей кажется, если он сбреет бороду, она вновь увидит того, прежнего своего сыночка, которого уже нет...

— Так, мама, с бородою-то, даже лучше, солиднее выгляжу,— ушел от прямого ответа Василий Егорович.— Душа бы молодая была — вот главное...

Отдохнув немного в родном доме, Василий Егорович пошел в колхоз работать конюхом.

Конюшня стояла в сотне метров от коровника. Управившись со своими делами, Василий Егорович по пути домой заходил обычно к дояркам — все один да один целый день, поневоле по живому человеческому слову соскучишься.

У девчат на ферме работы — выше головы. Крепко умаиваются. Сколько раз за день с коромыслом на плечах за водой сходишь. Сколько пудов на вилах перетаскаешь — знай подбрасывай коровам сено-солому, корми. Да дойка еще сама... А все же посмеяться, шуткой перебраться — никакого повода не упустят. Молодость свое берет.

Глядит Василий Егорович на девчат, и сами собою приходят в голову грустные мысли. Им ведь многим уже и под тридцать, этим девчатам, по двое, по трое детей они уже иметь должны, а они и целоваться-то как не знают. О, проклятая война!.. Сколько же ты обездолила.

— Эй, вздремнуть, что ли, пришел к нам сюда? — начинают подтрунивать над грустно задумавшимся Василием Егоровичем доярки.— Давай занимай нас разговорами, а не то, будешь так молчуном сидеть, навалимся на тебя да сбреем твою бородищу.

— Ой, ну что вы! Такую красивую бороду,— всерьез вступает за него Унись, будто и в самом деле собирается кто-то сбривать ему бороду.

И странно теплело от этих ее слов на серд-



це у Василия Егоровича, нравилось ему, приятно было, что так вступается за него девушка. Она совсем еще молоденькая была, стройненькая, как былинка. Казалось, где в ней только сила спряталась — ведь она работала наравне со всеми. И никогда никто не слышал от нее слов «устала» или каких-нибудь других жалоб.

Как-то раз, неожиданно для Василия Егоровича, они встретились на лугу возле реки. Он, как всегда, пас лошадей. Почти всех уже разобрали на работы, осталось лошадей восемь, — он собрал их в одно место и присел отдохнуть в тени склонившейся над водой ветлы.

Ветла была очень старой. В тридцатых годах, помнилось Василию Егоровичу, здесь были огороды, сажали капусту, поливали ее водой из этой реки, — ветла все так же наклонялась над прозрачной текучей гладью, и уже тогда выглядела старой. Казалось, ветви ее высохнут и упадут в реку, но смотри — она все стояла, не поддаваясь времени! Стояла и стояла!

Василий Егорович не заметил, откуда подошла Унись. Заметил ее только тогда, когда она уже стояла в тени ветлы, прямо перед ним.

— Унись? — удивленно воскликнул он.

— Что? Испугался? — рассмеялась Унись. Наверное, он очень смешно выглядел, с вытаращенными от удивления глазами. — Не бойся, я не волк, не съем.

— Нет... не смейся, пожалуйста... Я не испугался... Просто так неожиданно...

— Эх ты! А еще танкистом был, — не смеясь уже, а наоборот, в какой-то задумчивости сказала Унись. — Неожиданностей там немало, наверное, было?

— Там-то? — переспросил Василий Егоро-

вич, прекрасно и без того понимая, о чем идет речь.— Там — это там, это другое дело.

— В красивом месте ты сидишь, Васюк,— тут же поспешила переменить тему разговора Унись.— Смотри-ка, тут ведь у тебя прямо как в поэме «Нарспи»\*:

Старая, к воде наклоняясь, ветла  
Не наглядится своим отражением.

На Василия Егоровича, необъяснимо для него самого, сошло вдруг вдохновение, и он ответил Унись стихами:

Посреди лужка зеленого  
Желтенький растет цветок.  
Я его увидел издали,  
Стороной пройти не смог.

— Ох ты! — удивилась девушка.— Где это ты научился так говорить? Первый раз слышу, чтобы прямо вот так стихи сочиняли.

— Тоска, Унись, всему научит.— Василий Егорович и сам не заметил, как глубоко вздохнул.— Вон, и старая ветла своим отражением в воде любитесь... Мне бы на свое лицо тоже посмотреть хотелось... Но... А коль так, так нечего ведь и думать, что можешь приглянуться какой-нибудь девушке.

— Что ты, Васюк.— Унись неожиданно под села к нему и заглянула в глаза. И показалось Василию Егоровичу, что имя его в ее устах прозвучало с какой-то необыкновенной ласковостью. Никогда до того никто не произносил его имя так.

Да, сердце его давно уже тянулось к Унись. Но что из того, что тянулось. Мечтать можно обо всем на свете, да не все мечты исполнимы.

---

\*.Поэма чувашского поэта К. Иванова.

— Ты, наверно, по делам, Унись? — чтобы не дать воли чувствам, спросил Василий Егорович.

— Да, по делам.— Девушка поднялась.— Бригадир разрешил мне лошадь взять. Хочу сегодня из лесу дрова вывезти. Взнуздай мне коня...— И вдруг опустила голову, поднесла к глазам угол платка, словно хотела прикрыть их.— Вот что, Васюк,— отняв от глаз платок, смело посмотрела она ему в лицо.— Хочу, чтобы ты знал, хотя и испугался меня. Так вот, чтобы ты знал: люблю я тебя...

Васюку показалось — земля накренилась под ним, так закружилась голова. Красные, желтые, синие круги поплыли перед глазами. А потом вдруг стало вокруг светло и ярко. И будто какой тяжкий гнет свалился с него.

— Унись... Унись...— только и достало у него сил произнести ее имя.

— Вот... вот какие смелые девушки теперь пошли,— дрожащим голосом сказала Унись.— Сами, как говорится, к крыльцу приходят. Но я... я при всех это могу повторить, без всякого стеснения... зачем мне стесняться своей любви? Я ее не крада ни у кого... Хоть на край света зови, хоть прямо сейчас, домой не заходя,— пойду. Я для себя все решила. Всю жизнь рядом с тобой идти буду. Помощницей тебе во всем буду. Бременем для тебя не стану...

Василий Егорович так растерялся, что не нашелся даже, что ответить. Взял только из рук Унись узду и пошел взнуздывать лошадь.

Удивительно, как за одно мгновение может измениться вся жизнь. Сколько мыслей толпится в голове... Что делать в таких случаях, как поступать... А, как получится!..

Он взнуздал лошадь и подвел ее к Унись. Она протянула руку к поводу, но он не отдал его. Глаза их встретились.

— Унись...— сказал Василий Егорович и запнулся. Но девушка продолжала смотреть ему в глаза, словно подбадривала, и он начал снова: — Унись... сегодня же приду к твоей матери. Такой день, как сегодня, выпадает в жизни один раз...

Ничего не ответила девушка. Взяла повод у него из рук и зашагала к деревне. Далеко уже отошла, когда обернулась,— не разобрать было: плачет ли она, смеется ли...

«Ну да, смеется или плачет — это теперь все равно. Сказал приду — значит, приду. Решено»,— глядя ей вслед, подумал Василий Егорович.

...Эх, воспоминания, воспоминания!.. Какой вас клубок наматывается за жизнь. Начнет раскручиваться — невозможно остановить. И все в этом клубке: и радости, и горе, и счастье, и слезы...

Вода на сковороде почти выкипела. Василий Егорович влил в мясо еще воды, положил лук...

Как будто вчера это было. Вечером, когда передал лошадей другому конюху, Василий Егорович надел белую сорочку и сшитый еще до войны черный костюм. Мать с отцом сразу же поняли, в чем дело,— ни разу со дня возвращения сын так не одевался. Сколько они мечтали об этом дне... Но все же, пока он собирался, ни о чем они его не спрашивали. Кто знает, скажешь что-нибудь не так — и не пойдет сын, куда собрался. А что спрашивать, не маленький уже, хорошую себе, наверное, присмотрел девушку.

И все же, когда уже выходил, мать не выдержала:

— Сынок, нам наготове быть?

В те годы свадьбы-то далеко не всегда справляли. Придет парень к девушке в дом — в тот же вечер, глядишь, ведет ее уже к себе. Время такое было.

— Не торопись, мама,— ответил Василий Егорович матери.— Придем если, так и потом не поздно будет на стол собрать.

Унись в тот же вечер привести он не смог.

— Прямо вот так, с ходу единственную дочь отпустить, все равно как теленка продать? — воспротивилась ее мать. И добавила: — Да ведь тебе же самому неудобно будет: пришел — повел, в самом деле, как теленка на веревке.

Собрали всех родственников, всех друзей, веселой, радостной вышла свадьба. Игнатий, тот, танцуя, частушки собственного сочинения пел.

И началась у Василия Егоровича супружеская жизнь.

Как говорят старики, жили они душа в душу. На третьем году совместной их жизни Унись родила сына. То-то была радость.

Узнав о событии в семье Василия Егоровича, пришел с бутылкой в кармане Игнатий.

— Васюк,— сказал он, поднимая тост.— Твой сын родился сразу после Дня Победы. Большого дня для нашей страны. И ты сам — ты солдат-победитель. Так назови же сына Виктором. Виктор — это означает Победа.

— Неплохое имя,— одобрил отец Василия Егоровича.— Виктор Васильевич, значит... Так первого председателя колхоза у нас звали. Кулаки его убили потом...

— Вот! — закричал подвыпивший Игнатий. — Имя зачинателя колхоза. А?! Счастливчик ты, Васюк, — ударил он по плечу друга. — Такое имя будет носить... Это хорошо. Русские в таких случаях говорят — наследник. Давай выпьем за наследника, — снова поднял он свою рюмку.

Василию Егоровичу понравилось предложенное Игнатием имя. И Унись была не против. Так мальчик, появившийся на свет, чтобы сделаться продолжателем рода, стал Виктором Васильевичем.

Жить бы да жить Василию Егоровичу с Унись, но никто не знает, в какой час и откуда подкрадется беда.

Это случилось весной, в апреле. Виктор уж начал ходить, первые слова свои — папа, мама — лепетать начал...

— Пожа-ар! Коровник горит! — постучали в окно на рассвете.

Унись вскочила, будто током ее подбросило, накинула на себя, что подвернулось под руку, и выскочила из дома.

Пожар погасили. Спасла Унись и своих коров. Спасти-то спасла, но через три дня свалилась в жару. Василий Егорович отвез ее в районную больницу. Воспаление легких, сказали там.

Отвез он жену в жару, но живую, привез холодную и в гробу.

Первые дни после похорон Василий Егорович ходил, как в бреду. Самому жить не хотелось. Только сын и удержал его на этом свете.

И начал он тогда жить для сына. Сам купал его, сам кормил, сам одежду латал-штопал. Вся жизнь его сосредоточилась на сыне.

В тот же год ушли из дома вслед за снохой, и отец с матерью. Совсем пусто стало в доме. Только Виктор своим лепетом и оживлял его.

Радовал сын Василия Егоровича, подрастающая. Окончил после школы ПТУ и стал трактористом. Работал к колхозе — не могли нахватиться. Потом призвали в армию. Был он, как и Василий Егорович в свою пору, танкистом, отслужил положенный срок — и вернулся домой, снова сел за рычаги трактора.

А Василий Егорович присматривал тем временем сыну невесту. И присмотрел он голубоглазую блондинку Агриппину с улицы Лешкасс. Но как заговорить с сыном об этом? И он все откладывал со дня на день: «Ладно, завтра поговорю»...

И вот, пока он так-то откладывал свой разговор со дня на день, однажды поздним вечером распахнулась дверь, и Виктор следом за собой ввел в дом девушку.

Они вошли, закрыли за собой дверь и встали на пороге. Стоят — и не проходят. Заныло сердце у Василия Егоровича — неспроста все это. А что же это за девушка-то? Он пригляделся. Вот тебе на. Галя-зоотехник. Та, что год назад к ним по распределению приехала.

— Проходите, что же вы там у порога-то встали, — справившись наконец со своим волнением, проговорил Василий Егорович.

— Проходи, Галя. — Виктор взял девушку за руку, и так, держась за руки, они подошли к Василию Егоровичу. — Отец... — сказал Виктор. — Мы с Галей решили подать заявление... Но прежде чем подать, мы хотели объявить тебе об этом... посоветоваться...

Посоветоваться... Что уж тут советоваться.

когда решили... Долго не мог Василий Егорович вымолвить ни слова. Потом, когда дальше стоять так и молчать стало уже неловко, все-таки осилил себя:

— Что ж, сынок, значит, пришел твой час...

И взглянул краем глаза на Гаю. Поблескивали в электрическом свете стеклышки ее очков в тоненькой золотой оправе. Была она маленькой, миниатюрненькой — как раз до подмышки Виктору, чтобы спрятаться под ней. Разве ж в какое сравнение с Агриппиной пойдет. Та высокая, стройная, статная...

Сложное чувство обуревало его. Конечно, сыну понравилась... Виктору с нею жить, не ему, но уж больно она неказиста...

Однако испортить сыну настроение он не мог. Сказал:

— Садитесь-ка за стол.

И пошел в чулан.

— Еды у меня никакой особой сейчас нет, — сказал он уже из чулана. — К чаю кое-что найдется. Чай попьем.

— Ничего не может быть лучше чая, — радостным голосом сказала от стола девушка.

«Во, уже вмешиваться начала. Без тебя я не знаю, что лучше, что хуже», — неприязненно подумал Василий Егорович и чуть было не сказал это вслух. Но вовремя остановился, и хорошо, а то ведь и себя, и сына в неудобное положение поставил бы.

Он напоил их чаем, Галя стала прощаться, Виктор пошел ее провожать и, когда Галя была уже в сенях, приостановился на пороге и обернулся:

— Значит, отец, завтра мы подаем заявление...



И все, ни слова больше — побежал следом за девушкой.

«Ишь, как успела уже вышколить», — с горечью подумалось Василию Егоровичу.

Трудно ему было смириться с мыслью, что отныне сын больше не принадлежит ему. Ведь, он один — один! — без матери, своими мужскими руками вынянчил его, своей мужской головой, думал, как растить, и вырастил. Здоровым, крепким, трудолюбивым вырастил!..

И многое из пережитого вспомнилось Василию Егоровичу, пока он вновь сидел-поджидал сына... Вспомнилось, как Виктор однажды болел ангиной. «Гнойная ангина», — поставил диагноз доктор. День болеет сын, два, а температура все не снижается, не лучше малышу, а наоборот — все хуже и хуже делается. Вот уж он и дышать почти перестал — все горло, видимо, закрыла опухоль. Василий Егорович завернул сына в одеяло и побежал по ночной темной улице к доктору. Стучал в молчащую дверь, кричал, потом, когда открыли, заплакал: «Единственное мое утешение, единственная моя он радость... сделайте же что-нибудь, спасите его!..» И доктор сделал что-то, малыш закричал, и изо рта у него полился гной вперемешку с кровью.

А теперь вот эта маленькая девчушка в очках уводит его от тебя. И он побежал за ней, как последний щенок...

... — Ох, чертов Игнатий! — забывшись, вслух ругнулся Василий Егорович. Разбередил душу своим упреком. Дома, мол, собаку гонимой оставила, а у чужих суп сварила... Было, было, сказал он такие слова.

Это произошло, когда Игнатий рассказывал

ему о случившейся с его женой беде. Пошла по воду, набрала полные ведра, поскользнулась — и упала. Хорошо, рассказывал Игнатий, видела это Галя — подхватила старуху, довела до дому, уложила в постель. Жидкостью ее какой-то потом растирала да, ведра подобрала, за водой заново сходилла.

Тогда-то и сказал Василий Егорович, не утерпел: «Дома собаку голодной оставила, а у чужих суп сварила».

В самом деле, Галя не очень-то по хозяйству расторопной была. Правда, Василий Егорович и не принуждал ее особенно, сам все привык делать, и еду в том числе готовить. Другое было обидно. Собирается на работу, ногу уже за порог перенесет, обернется и скажет: «Пап, мы с Виктором сегодня в столовой обедать будем, там нам удобнее. Давай и ты приходи». Скажет — и понеслась. «А кто же будет. домашний обед есть?» — хочется спросить Василию Егоровичу, да что спрашивать — она его уже не услышит. Как тут не начнешь задумываться, кто же дом в порядке содержать будет, когда его не станет... Вот и сказал он Игнатию те слова, против воли вырвались. А сегодня Игнатий вернул их ему...

Василий Егорович взял ложку, подошел к сковороде, источавшей густой мясной аромат, и попробовал мясо. Мясо было вкусное и мягкое, так и таяло во рту, прямо жевать не надо. Что ж, мясо молодого барана...

«Есть у нас в колхозе с кого пример брать» — так она сказала, да? Вот, значит, как она к нему относится. А он... Может, от одного его вида другой бы он неприятен был. Ходит

день-деньской, с утра до вечера, в старых заношенных штанах, сверху рубахи ватник только и надевает, иной одежды не знает.

«Встречу-ка я их по-торжественному», — подумалось Василию Егоровичу. Он подошел к сундуку — с ним Унись въехала когда-то в его дом — и поднял крышку. В нос ударил запах нафталина. Здесь, в сундуке, лежали наряды его молодости. Лежал здесь и его черный костюм, тот, в котором он ходил сватать Унись. Только в торжественные дни надевает он его. И давненько уже не надевал; все это время, что прошло со дня свадьбы сына, даже и не подходил к сундуку. Была причина на то, крепко его тогда обидела Галя.

Унись, умирая, думала о сыне. Она думала о сыне и плакала, что никогда уже не увидит его взрослым и самостоятельным. «Вечером я вошла в дом твой в тухье\*, а на работу утром вышла в хушпу\*\*, — сказала она. — Пусть на свадьбе Виктора невеста наденет их. Это как бы мое благословение будет...»

В день регистрации Галя была в белом длинном платье. А на голове — тончайшая, газовая фата.

— Может быть, наденешь все же тухью? — напомнил ей Василий Егорович о своей просьбе.

— Да вы что, — весело ответила ему Галя, — время и тухьи, и шюльгеме давно прошло. При школе есть музей старого крестьянского быта, надо их туда и сдать. Или, может быть.

---

\*Тухья — девичий головной убор из монет.

\*\*Хушпу — головной убор из монет замужней женщины.

в театр продать. Там они, наверное, очень нужны, я в газетах объявление читала.

«Что ты говоришь?! Продать благословение матери Виктора?» — чуть было не закричал Василий Егорович. Он ясно увидел, что сына окрутила ветреная, пустая девчонка, и возникшее чувство неприязни к ней свило в его сердце прочное гнездо.

А ведь, может быть, во всем виноват он сам. Он ведь тогда не осмелился почему-то сказать девушке, что это не просто его просьба, не прихоть его, а об этом просила мать Виктора...

Третий год уже идет со дня свадьбы. Он уж начал было беспокоиться, не пустая ли, как гнилой пенек, у него сноха, но нет, вот на прошлой неделе Виктор радостно сообщил ему, что Галя тяжелая. Значит, пригодятся скоро пеленки, в которые Унись заворачивала еще Виктора. Вот они лежат, целая стопка. Унись, она была хозяйственная и аккуратная. То, что они лежат здесь, ждут своего часа — это не от жадности, это от бережливости, вот и пригодятся скоро. А вот кашемировый платок, который был подарен Унись ее бабушкой...

Василий Егорович добрался до того, за чем полез в сундук, — до своего торжественного черного костюма. Снял с себя повседневные штаны и стал надевать костюмные брюки.

Но едва он, вдев ногу в брючину, потянул ее на себя, брючина порвалась. Вот тебе и на!.. Василий Егорович внимательно осмотрел материал — оказывается, несмотря на нафталин, моль разрежала брючину у колена, прямо как ножом. Да-а... Что ж, этого следовало ожидать.

Вот уж три года, как он не перетряхал сундук, не выносил его содержимое просушиваться на солнце. То же, наверное, случилось и с пиджаком.

Он осмотрел пиджак — нет, пиджак был цел.

И Василия Егоровича странным каким-то образом это обрадовало. Что ж, подумал он, не все, значит, еще потеряно... и с удивлением обнаружил, что думает не о костюме, а о себе.

«Правильно ведь Игнатий-то меня упрекнул, — пробормотал он про себя. — Правильно... Что это я, все мне не так у них, все не эдак... не нравится, видишь ли, что живут по-своему. Так ведь так и должно быть. А я, вместо того, чтобы в нужную минуту какой-нибудь дельный совет дать, все только ворчу себе под нос, все ворчу... Всякое мужское достоинство потерял, как старуха какая сделался. А еще солдатом был, воевал... Была бы жива Унись, что бы она сказала?..»

Он вспомнил об Унись, и в голове у него опять прозвучали те, произнесенные ею при их объяснении строки:

Старая, к воде наклоняясь, ветла  
Не наглядится своим отражением.

Да, вот и он уже сделался старой ветлой... Где то зеркало, в котором он может увидеть свое отражение? Сын со снохой — вот оно, то зеркало. Сын — продолжатель его рода, продолжательница его рода — сноха, которая родит ему внуков, он будет нянчить их и узнавать в них самого себя...

Василий Егорович снова надел свои повседневные брюки. А костюмные брюки вынес в чулан и надежно спрятал там, чтобы не по-

пались они на глаза Виктору с Галей. Пиджак же повесил на гвоздь у двери. «Поношу хоть немного, пока совсем его моль не съела».

Потом он сложил вынутые вещи обратно в сундук и опустил крышку. А что, подумалось ему, когда он разогнулся, может, и в самом деле тухью с хушпой в музей снести? Каждый тогда, кто увидит их, вспомнит об Унись... А так что... железо, конечно, моль не съест, а полотно-то уж совсем обветшало... С Игнатием посоветоваться, что ли?

С улицы донесся звяк щеколды.

Идут, обрадовался Василий Егорович. Дернулся вдруг к погребу — пива холодненького принести — и остановился: а может, и не захочет никто, а захотят — Виктор и сам слазит.

Вот на крыльце раздались уже звуки шагов...

Эх ты, старая ветла...

Василий Егорович снял сковороду с электроплитки и поставил на стол.

Дверь распахнулась, и в дом, улыбаясь, держась за руки, вошли Виктор с Галей. И Василию Егоровичу показалось, что не было их, последних двух лет, сын со снохой только что вернулись с регистрации, и жизнь втроем начинается заново.

А сковорода на столе, окруженная облаком мясного аромата, звала, приманивала к себе — сесть, объединиться вокруг нее, и запах этот сладко кружил голову.

## Под гору

С заседания парткома Абрам Петрович вернулся уже в темноте. Свет в окнах не горел, и жена, и дети, видимо, легли спать.

Абрам Петрович зашел в избу, стараясь не шуметь. Он боялся, что жена может проснуться от звука его шагов, а ему не хотелось никаких разговоров с ней. Тоскливо, муторно было на душе, сердце колотилось, будто хотело выпрыгнуть из груди... Не было еще у него в жизни такого дня, как нынешний. Непоправимое случилось, непоправимое!..

Под ноги что-то попало, он споткнулся, едва не упал, но удержался. «Черт!» — выругался он шепотом и в сердцах пнул эту подвернувшуюся под ноги, как теперь догадался, туфлю. Туфля с шорохом пролетела по полу и с грохотом ударилась о ножку стола.

— Кто там шумит? — раздался в темноте испуганный голос Кетерин.

«А, черт, разбудил-таки», — снова ругнулся про себя Абрам Петрович. И выговорил сдавленным шепотом, сквозь стиснутые зубы:

— Спи! Пораскидали по всей избе туфли... никогда никакого порядка нет!

Кетерин узнала голос мужа.

— Ужин подогреть? — поднимаясь с постели, тоже шепотом, чтобы не разбудить детей, уже успокоившись, спросила

она.— Или так мясо поешь, холодное?

— Нужен мне твой ужин...— с досадой про-  
бормотал Абрам Петрович, повернулся, зашел  
в чулан и включил в нем свет.— Вчерашней  
вроде бы оставалось немного, где она? — спро-  
сил он у вошедшей следом за ним жены. В го-  
лосе его прозвучало недовольство: «Знала, что  
мне потребуется, а не приготовила».

— Ты про водку, что ли? — сделала вид,  
будто не поняла, о чем речь, жена.

— А что еще вчера оставалось? К роднику  
за водой я и сам дорогу знаю. Да вон и котел с  
нею стоит, черпай, сколько душе угодно...

— Взрели, что ли, на парткоме, фырчишь,  
как хомяк, слова не даешь сказать? — Кетерин  
старалась говорить спокойно.— Вон, в шкафу,  
на нижней полке. Открой и возьми.

Абрам Петрович достал из шкафа початую  
бутылку водки, налил стакан и, крупно глотая,  
будто его мучила жажда, а это была вода, стал  
пить. Он выпил весь стакан зараз, поставил его  
на стол, отломил от лежавшего на столе кара-  
вая кусок и, поднеся к носу, с жадностью втя-  
нул в себя его запах.

— Взрели на парткоме, точно,— сказал он  
затем.— Взрели и освободили от обязаннос-  
тей.— Сунул кусок в рот и стал жевать, глядя  
на пустой стакан на столе.

Кетерин, услышав слова мужа, обмерла.  
Она стояла, в неподвижности и тоске, и не зна-  
ла, что сказать. Наверное, ей следовало бы  
успокаивать его, говорить ему ласковые слова...  
но она была неспособна на них.

— Давно чувствовала моя душа, что осво-  
бодят,— сказала она наконец то, что было у нее  
на сердце.



Абрам Петрович взглянул на жену — глаза у него были налиты яростью.

— И ты? И ты с ними заодно? Против родного мужа?..

— Я не заодно. Просто давно уже ждала этого.

Ярость в глазах у Абрама Петровича враз как-то потухла.

— Провидица какая нашлась!.. — пробормотал он, отводя глаза от жены. — Не дразнила бы уж, не злила... Иди спать! Я на сеновале лягу. — То ли от того, что жена не пожалела его, не сказала ему ласкового слова, то ли это водка уже ударила в голову, в горле было тесно от слез. — На сеновале воздух свежей. Там полезней спать, — добавил он, выключил свет, чтобы жена не увидела его слез, и протиснулся мимо нее к выходу из чулана.

\* \* \*

Славшие гуси проснулись от шагов Абрама Петровича и подняли шум — захлопали крыльями, загоготали. «Дрыхли бы уж!» — все с той же досадой подумал он. Все ему мешало. Вон корова, та лежит себе спокойнехонько, сопит и жует свою жвачку...

В деревне стояла тишина. И на всю сотню с лишним домов светилось в темноте несколько окон. Внезапно, словно испугавшись со сна, начала лаять собака, к ней присоединилась другая, третья... Собачий лай колотил по барабанным перепонкам, будто стучали по ним доской.

Абрам Петрович долго, без всякой цели

ходил по двору. Потом вспомнил, зачем вышел, и забрался на сеновал.

На сеновале лежали два одеяла, подушка. Абрам Петрович постелил одно одеяло на сено, лег, вторым одеялом укрылся. Закрыв глаза. Но сон не шел. Тишина вокруг, казалось, давила, стискивала голову тесным обручем. Абрам Петрович отгонял от себя всякие мысли о происшедшем, усилием воли заставлял себя ни о чем не думать — но ничего не выходило.

— Черта с два заснешь так! — с бессильной злостью произнес он вслух и открыл глаза. Было все так же темно и все так же, но уже ленивее и реже, взлаивали собаки. — Ох, не думал, не думал, не думал, что так все кончится, — скороговоркой громко произнес он.

И то ли от того, что так звонко в ночной тишине прозвучал его голос, так что показалось даже на миг, будто это кто-то рядом с ним проговорил эти слова, то ли от того, что просто они, впервые, как кончилось заседание парткома, были произнесены, Абраму Петровичу стало не по себе, по телу пробежала волна озноба. Он замер, глядя открытыми глазами в темноту перед собой, и с необыкновенной, какой-то слепящей ясностью ему вспомнилось, как все началось тогда, пять лет назад...

Это было еще до укрупнения, тогда колхоз не включал в себя несколько окрестных сел и деревень, и до правления, когда его вызвали, было идти всего ничего — оно находилось на соседней улице. В кабинете у председателя колхоза Хрисана Никодимовича был и секретарь партбюро

— Вот что, Абрам Петрович, — сказал

председатель, когда они все поздоровались и расселись вокруг обшарпанного председателева стола.— Подумали мы тут, помозговали и решили: ставить тебя заведующим фермами. Опыт у тебя есть. Знания есть. Что скажешь на это? Согласен?

Абрам Петрович растерянно переводил взгляд с председателя на секретаря, с секретаря снова на председателя. Лица их были серьезны, на них не было и тени насмешки. «Да и с чего бы они стали так шутить... Они серьезно»,— подумал он, и от этой мысли ему враз сделалось неловко, он покраснел, опустил глаза.

— Если вы мне поможете... если вдруг будет необходимо... подскажите, если что не так, я ведь не семи пядей во лбу...— смог он сказать через некоторое время.— Коллектив, я надеюсь, поможет... Если так, я бы согласился.

— Ясно, что будем помогать,— сказал секретарь. По голосу его было понятно, что ответ Абрама Петровича ему понравился.— Такую работу в одиночку никому не под силу вворачать.

— Значит будем считать, что вопрос решен,— довольно произнес председатель и встал. У него была такая привычка: подводить черту под каким-либо делом обязательно стоя.— Вечером приходи на заседание правления. Будем утверждать.

Вечером на заседании правления Абрама Петровича утвердили заведующим.

Наутро Абрам Петрович был уже на фермах. Он побывал и на молочнотоварной, и на свиноводческой, и на овцеводческой. То, что

он увидел, привело его в смятение. Овцы толклись в загоне по живот в грязи. Когда они ложились — а всякая овца, придя с пастбища, обязательно ложится, — вымазывались в этой грязи по самые уши. Как тут выполнишь госплан по поставкам шерсти — такая свалявшаяся, грязная шерсть никогда не пойдет высоким сортом. Следовало разравнять площадку, настелить на нее чистой сухой соломы.

На молочнотоварной ферме прогнили и обвалились обгораживавшие стойла жерди. На ферму был проведен водопровод, сооружены автопоилки, доярки по идее были полностью освобождены от таскания ведер с водой, а коровам оставалось только нажимать губами на педаль индивидуальных поилок и пить сколько вздумается. Но вода не текла в поилки, даже если нажимать рукой. Собранный з кучи навоз лежал прямо в проходе.

— А где же слесарь-механик? Почему он поилки не починит? — спросил Абрам Петрович, подходя к одной из доярок.

Девушка сердито фыркнула:

— Где! Да мы уж целую неделю его не видели.

— Но где-то ведь он все-таки есть! — возмущенно сказал Абрам Петрович. И попридержал собиравшуюся идти по своим делам девушку. — А как же вы коров поите?

— Как! Так и поим по старинке, — махнула она рукой. — Вон во дворе старые корыта стоят, еще от наших бабушек остались. Воду на коромыслах натаскаем в них, а потом и поим. — В голосе ее слышалась безнадежность: «Да и ты ничего тут не переменишь».

— Но для чего же тогда автомат стоит? —

совершенно разволновался Абрам Петрович. — Для чего его было делать?

Девушка снова фыркнула:

— А чего вы меня спрашиваете? Видно, у колхоза лишние деньги были, не знали, куда девать.

— И что же, — спросил Абрам Петрович, — у вас здесь такой беспорядок, а вы никому ничего не сообщаете?

— Как не сообщаем, — девушка вздохнула. — Сообщаем, сообщаем — да надоест... Вызовут мастера, поковыряется он, поковыряется — вроде отремонтировал. А через два дня снова поилка из строя вышла. Каждый день к начальству не будешь бегать...

— Нельзя, нельзя так дальше работать... — то ли к доярке обращаясь, то ли к самому себе, негромко произнес Абрам Петрович.

— Оно, конечно, так... — тоже неопределенно протянула доярка.

Вечером Абрам Петрович пришел в правление, к Хрисану Никодимовичу. И состоялся у них разговор. Все, что видел, все, что думал по этому поводу, обо всем Абрам Петрович рассказал без всякой утайки.

— Что ж. Работайте. Я со своей стороны, как и договаривались, буду помогать, — сказал председатель.

По просьбе Абрама Петровича каждая полевая бригада выделила по несколько человек для срочных работ на фермах. Разравнивали площадку загона для овец, настелили свежей соломы. Починили обгородку стойл. Убрали из хлева навоз. Починили, так что она

стала работать, как часы, автопоилку.

— Старается. Болеет за дело,— стали говорить в деревне о новом заведующем фермами.

Кого не радует доброе слово? Тем более когда слышишь его не от одного какого-то человека, а от всей деревни.

Велика она, сила доброго слова. Оно воодушевляет и помогает в самую трудную минуту. Оно заставляет отдаваться делу без остатка: открывать в себе такие возможности, о которых человек и не подозревал. Оно заставляет верить в себя, и эта вера окрыляет, пробуждает смелость, дерзание...

И вот уже начали говорить с трибуны на собраниях: «Верный курс взял Абрам Петрович. С твердым характером человек. Слов на ветер не бросает, сказано — сделано».

Абрам Петрович слушает это и кажется ему, будто не на стуле он сидит, а парит в облаках, в невысказанной высоте.

А слава все шире расплывает свои крылья, вот уже и с районной трибуны поминали Абрама Петровича...

Нелегко оно, испытание славой. Сильный душой человек примет ее как свидетельство щедрости народа, его доброты, примет ее как аванс в счет будущих, недостигнутых еще высот и будет продолжать жить так же, как жил до сих пор.

Для слабого душой человека слава оказывается бременем, и подчас таким, нести которое ему не под силу. И тогда рано или поздно рухнет он под этим бременем...

Так планер, влекомый самолетом, все выше и выше забирается в облака. И вот отцеплен

трос — и планер устремляется в самостоятельный полет, потоки воздуха бьют в его распластанные крылья. Долго может парить планер в синем поднебесье на своих мощных широких крыльях, нужно только, чтобы за рулем его сидел мастер, чтобы он умелой рукой направлял планер в нужные течения, чтобы чувствовал, где довериться вольной воздушной стихии, а где совершить рискованный маневр; ошибка пилота будет стоить ему жизни — сбитый воздушными струями, планер упадет на землю.

Слава не приходит к человеку неизвестно откуда, она рождается народом. Народ — это тот самолет, который поднимает планер твоей судьбы в заоблачные выси. Сумей понять это. Сумей понять, что ты ничто без народа, и если возомнишь, что можешь вечно парить в вышине, опираясь только на собственные крылья, крах твой неизбежен...

«Строгий, требовательный человек», — звенят в ушах Абрама Петровича слова, произнесенные с трибуны. Что ж, руководитель не может быть не строгим. Но у людей широкой души и большого сердца строгость эта никогда не переходит в грубость и высокомерие. А если мало-помалу все-таки превращается она в черствость, упрямство, нетерпимость к чужим мнениям и нуждам?

Нет, не знал Абрам Петрович, когда произошло с ним подобное. Не заметил. А ведь произошло.

— Упрям! — окликнул его Ыгынат, рабочий свинофермы. Абрам Петрович торопливо шагал по своим делам его двором, и Ыгынат, видимо, хотел что-то спросить у него.

— Какой я тебе Упрам?! — останавливаясь, со злобой закричал Абрам Петрович. — Ты что, не знаешь, как меня зовут? Имени-отчества моего не знаешь? Меня и районные руководители по имени-отчеству величают!

— Ну так сейчас-то ты не в районе на заседании, а на ферме, с Иыгынатом общаешься, — попробовал отшутиться рабочий. — А я к тебе по-свойски, по-деревенски обращаюсь.

— Хватит зубоскалить! — вспыхнул Абрам Петрович.

— Ой, Упрам... ну, ты как кипяток сегодня, — все еще не понимая, что Абрам Петрович завелся по-настоящему, продолжал шутить Иыгынат. — Ты уж не перехватил ли сегодня с утра пару стопочек?

— Ты еще и издеваться вздумал?! — Абрам Петрович стремительно подошел к Иыгынату, дал пощечину, схватил его за рукав и потащил за собой. — Я тебе дам «выпил», я тебе дам!.. Сам пьяный, идем в медпункт, освидетельствуем тебя...

Все это, вполне возможно, так бы и осталось между ними, но тут неожиданно перед мужчинами появилась Крахьян. Она, как и Иыгынат, работала на свиноферме.

— Ты что это, — закричала она на Иыгыната, — позволяешь лупить себя по щекам? Что же, раз он руководитель, можно издеваться над людьми? Нечего спуска давать, я у тебя свидетелем пойду.

— Да не... подожди ты... Ничего и не было. — жалея уж, что он окликнул заведующего фермами, попробовал увильнуть Иыгынат.

— Ох ты мямля! Тебе пощечину дали, и ты же говоришь, ничего не было. Что он, барин



твой? Ты у него в работниках состоишь? Это только в старину помещики так своих крепостных били! — Крахьян разошлась, лицо у нее раскраснелось, руки сжимались в кулаки.

Абрам Петрович испугался. Крахьян говорила громко, не дай бог, на ее крик соберутся люди. Он переводил взгляд с нее на Йыгыната, с Йыгыната на нее и не знал, что предпринять.

— Проси прощения! — приказала ему Крахьян. — На колени вставай!

Ну уж, это было слишком! Встать на колени! Все в Абраме Петровиче так и взбурлило. Да встань он сейчас на колени — и прости-прощай весь нажитый авторитет. Вон сейчас она этого Йыгыната «мямлей» назвала, а как его, встань он на колени, называть будут? Да на него все пальцем показывать будут. Все смеяться над ним станут. Если только старики, так это бы еще ничего, но ведь и дети, мелкота всякая, что в песке возится. — тоже.

— Что здесь базар устроили?! — зычно, по-начальнически гаркнул он. — А ну-ка прекратить и немедленно приступить к работе!

Крахьян не испугалась.

— Мы работаем, не беспокойся. Нечего на нас кричать. Не хочешь, значит, просить прощения? Хорошо! Тогда в другом месте попросишь. Если Йыгынат не напишет, я сама секретарю партбюро напишу. Все, как было. Ишь, задрал голову!.. На каждом собрании только его и хвалят. Один Упрам воз тащит, старается, колхоз вперед выводит... Тьфу!

— Не Упрам, а Абрам Петрович, — вставил наконец свое слово Йыгынат.

— Да, как же! Пусть он сначала меня Агриппиной Гордеевной величать научится. Я, чай, постарше его. А потом уж и я его по имени-отчеству буду. Нашелся мне тоже... Пойдем...— И Крахьян, как маленького ребенка, потащила Йыгыната за руку прочь.

Абрам Петрович остался стоять посреди двора один. «Распустились, совершенно распустались, никакой дисциплины, придется накрутить им хвосты»,— стучала в голове у него одна мысль.

...Над головой неожиданно закукарекал петух. Абрам Петрович вздрогнул. «А, черт побери!...» — пробормотал он и перевернулся со спины на живот. Теперь он жалел, что не встал тогда перед Йыгынатом на колени. Да что и вставать было, достаточно было просто попросить прощения, и все, никто бы больше ни на чем не настаивал, это так, для красного словца говорила Крахьян. И не дошло бы тогда ни до какого партбюро, а с того-то партбюро и протянулась прямая дорожка на нынешний партком...

Да, написала-таки тогда Крахьян. В тот же день написала.

А еще через несколько дней состоялось обсуждение ее заявления.

Абрам Петрович держался на партбюро как и подобает руководителю — уверенно и с достоинством.

— Я за дисциплину,— начал он свою речь.— И в таком вопросе, как дисциплина, немалую роль играет авторитет руководителя. Авторитет руководителя надо оберегать всяческими мерами. А Йыгынат стал меня ни с того ни с сего обзывать пьяным,

да еще в присутствии женщины. И при этом...

— Нет, погоди, тогда дай я скажу! — перебил его, вскочив со своего места, Йыгынат. — Я думал о тебе, ты все-таки порядочный человек, а ты... Прошу прощения, что я перебил, товарищи, но не выдержала душа. Во-первых, я тебя не обзывал, а пошутил, как обычно мужики у нас шутят. Во-вторых, когда мы с тобой разговаривали, стояли мы с тобой вдвоем. А Крахьян была далеко от нас, на крыльце стояла. Наш разговор она никак не могла слышать. Только когда ты дал волю рукам, тогда и подошла к нам... — Йыгынат задохнулся и, чтобы унять волнение, судорожно сглотнул. — Я, знаешь ли, и не хотел никакого этого разговора, это Крахьян написала, я хотел с тобой по-свойски, один на один... но вижу, что правильно сделала Крахьян. Не умеешь ты подходить к себе критически. Надулся, как та лягушка... Шутки понимать разучился. Что, думаешь, успехи ферм — это только твои успехи? А кто за скотиной ходит, навоз возит? Нет, в этих успехах и моя доля есть. Так или нет, товарищи? — повернулся он к партбюро.

— Правильно, правильно, — покивал ему секретарь.

И такое началось после выступления Йыгыната... Ох, и досталось Абраму Петровичу. Вначале он еще держался, сидел с равнодушным, каменным лицом, а потом покраснел, вспотел, начал вытирать пот со лба... И из-под подмышек по телу тоже покатился пот — весь вспотел, как водой окатили. Надо же, что может простое слово сделать...

Выступил и председатель колхоза. Начал

он свое выступление с того, что похвалил Иыгыната, похвалил его как работника и похвалил его речь. «Это речь современного передового человека», — сказал он. «А я, выходит, не современный!» — хотел бросить Абрам Петрович, но не решился.

—Игнатий Савельевич,— сказал затем председатель, обращаясь к Абраму Петровичу,— нас с тобой от фашистского порабощения спас. Он кровь свою, нас с тобой защищая, проливал. И на такого человека ты руку поднял! Да как она не отсохла, твоя рука? Ясное дело, руководитель без авторитета — не руководитель. Но ведь никто его у тебя и не отнимал. Твой энтузиазм в работе все ценят. Все мы знаем, что работаешь ты хорошо...— Вот так, начав свое выступление с обвинительных слов в адрес Абрама Петровича, Хрисан Никодимович сошел постепенно на примирительный тон.— Нам давно нужен был такой заведующий. Теперь мы перевыполняем план по сдаче мяса. Выполнили в этом году план по шерсти! Молодец! И нужно тебе было, как и говорила Крахьян, просто попросить прощения. Попросил бы — и не тратили бы мы сегодня время, не разбирали бы это заявление. Не до конца ты, Абрам Петрович, постиг еще науку управления людьми, не до конца!..

Построив так свое выступление, Хрисан Никодимович как бы дал понять всему партбюро, что Абрам Петрович, конечно, виноват, но пусть он попросит прощения — и инцидент можно считать исчерпанным, потому что Абрам Петрович все-таки очень нужен колхозу, организаторов не хватает... Понял все это и

сам Абрам Петрович. Понял и, когда Хрисан Никодимович закончил, поднялся с виноватым, пристыженным видом.

— Прости, Игнатий Савельевич, меня дурака...— сказал он. И шагнул вперед.— Дай руку, прости... А если нужно, и на колени перед тобой встану...

Он приготовился уже встать на колени, но Иыгнат вскочил и, схватив его поперек груди, удержал.

— Не дури,— проговорил он умоляюще.— Не позорь перед людьми ни себя, ни меня...

— Вот и помирились, все в порядке! — радостно вскинул руки Хрисан Никодимович.

— Нет, товарищи,— перебил председателя секретарь партбюро.— Просто так, безнаказанным мы этот поступок оставить не можем. Помирились они — это хорошо, иначе и быть не могло. Но дать свою оценку случившемуся мы должны. Иное решение было бы просто беспринципностью. Хрисан Никодимович защищает Абрама Петровича как хорошего работника. Что ж, я присоединяюсь к этой позиции. Только я хочу защитить Абрама Петровича и от самого себя, чтобы в дальнейшем с ним ничего подобного произойти не могло. Я полагаю, Абраму Петровичу следует объявить выговор.

Члены партбюро проголосовали за предложение секретаря единогласно.

Абрам Петрович будто заново родился. Совершенно перестал показывать свой «характер». Ходит по фермам с постоянной улыбкой на лице, шутит, балагурит. Прислушивается ко всем жалобам, вникает во все просьбы.

— Абрам Петрович, да как же это так получается,— обращаются к нему доярки.— Для кого у нас фильмы в клубе крутят? Никогда целиком не посмотришь. Придешь вечером с дойки — вторую половину только и можно захватить.

— Да, действительно...— участливо отзывается Абрам Петрович.— Ну, и что же вы предлагаете?

— Да поговорили бы в правлении, пусть они завклубом попросят: на полчаса бы сеанс позднее начинать. Ничего страшного не случится, а мы бы успевали.

— Хорошо, поговорю,— обещает Абрам Петрович.

И вот проходит какое-то время, и начало сеансов в клубе переносится на полчаса.

— Молодец он все-таки, Абрам Петрович. И к делу с душой, и к людям...— снова стали поговаривать в деревне.

И никто не знал, как ему было тяжело заниматься всеми этими просьбами, вникать в чужие заботы да принимать в них еще участие. Никто не знал, как портилось у него настроенье, как разом муторно делалось на душе, когда подходили к нему со своими делами... Но, правда, теперь Абрам Петрович не показывал даже вида, что все это ему не по душе. Он крепко помнил, что было на партбюро. Выговор это не шутка...

Даже с Иыгынатом, из-за которого все и произошло, Абрам Петрович сама любезность. То по одному поводу посоветуется с ним, то по другому.

— Как, Игнатий Савельич,— теперь к Иыгынату он обращается только по имени-от-

честву,— как думаете, хватит нам витаминов, чтобы все поросята, которых мы от маток отняли, хороший привес давали? Прикиньте. А то есть возможность еще достать. В районе обещали выделить нам дополнительно.

— Да нет, Абрам Петрович,— отвечает Йыгынат,— не надо ехать в район. Пока вполне достаточно витаминов. Лежать у нас будут. У нас лежать, а кому-то не хватит.

— А что ж мы о других заботиться будем,— усмехается Абрам Петрович.— Другие пусть сами о себе заботятся.

— Так какие они другие,— говорит Йыгынат.— Все один район наш.

Абрам Петрович хохочет и пытается свести все к шутке:

— Ох, какой ты грамотный стал, Игнатий Савельич!..— Но не выдерживает и замечает с многозначительностью: — А все-таки, когда в соревновании окажешься первым, так ведь приятно.

Йыгынат не принимает веселого тона Абрама Петровича.

— Когда по-честному вперед выходишь, тогда еще приятнее,— говорит он.— И на душе легко.

— Хорошо, хорошо, пусть по-твоему будет,— соглашается Абрам Петрович. И снова сводит все к шутке: — На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой затевай.

И Крахьян нет-нет да и обмолвится об Абраме Петровиче добрым словом.

— Что, совсем другим человек стал! — говорит она Йыгынату.— Вот что значит пробрали коллективно.

— Да, коллектив — сила великая, — соглашается Йыгынат.

Все эти разговоры доходят и до Абрама Петровича. Тут сам услышит, там передадут... И он убеждается, что избрал после партбюро единственно верный путь.

А фермы выполняют планы — и месячные, и квартальные, перевыполняют их, при подведении итогов то одного работника наградят Почетной грамотой, то другого, третий, глядишь, ценный подарок получает.

— Ценят наш труд! — переговариваются между собой доярки.

— Вон мы какую прибыль колхозу давать стали, — толкуют свинари.

— Шерсть-то теперь только первым сортом сдаем, — радуются овцеводы.

И наступил однажды день, когда Хрисан Никодимович, разговаривая о разных-всяких делах с секретарем партбюро, сказал:

— Пора уж нам, наверное, снимать выговор с Абрама Петровича. Теперь его, кого не спросишь, хвалят все, исправился, мол. Понял, я думаю, свою ошибку. А мы такими руководителями, как Абрам Петрович, бросаться не можем.

— Что ж, пусть пишет заявление о снятии. Обсудим на бюро, — ответил секретарь.

Очистился от выговора Абрам Петрович. Сняли так же, как объявили: единогласно. Даже еще и похвалили. Не стал-де упрямять, держаться за свои ошибки.

Похвальное слово человеческому сердцу — как спорый летний дождь для изголодавшейся по влаге земли. Хлынет он — и земля пьет его не напьется, жадно впитывает в себя каж-



дую каплю. Но бывает, так затвердеет земля, так уплотнится от зноя, что делается повсюду, как убитая ногами в камень тропинка, и тогда вода лишь скатится по ней куда-нибудь в речку ли, в озеро ли...

В тот вечер, когда с него сняли выговор, Абрам Петрович шагал домой — и ему казалось, что не ноги его несут, а два крыла за плечами. «Ну, все, теперь все», — приговаривал он вполголоса одну и ту же фразу.

И — опять как подменили его. Снова голос его разносится криком по фермам, снова он обращается к старым и к молодым на «ты», снова иная работница после разговора с ним утирает с лица слезы обиды...

А ведь он свой человек в деревне, Абрам Петрович, не со стороны откуда-то прибыл, не ветром его из неведомых, «злых» краев занесло. Так в чем же тогда причина, что столько оказалось в нем грязного и низкого?

Абрам Петрович был в семье единственным сыном. Он был единственным сыном и шестым по счету ребенком. Отец Абрама, когда наконец после пяти дочерей у него родился сын, от радости чуть не сошел с ума. Он созвал полный дом гостей, пил, смеялся, кричал «ура», сажал жену вместе с младенцем на стул и, подняв стул, носил его по избе.

Как только маленький Упрам в своей колыбельке начинал плакать, к нему сбегалась вся семья. Его сестры почти не отходили от него. «Ой, какой хорошенький! Ой, как он посмотрел!» — умилялись они. Отец, уезжая куда-нибудь на день, на два, обязательно говорил: «Смотрите, следить мне тут за наследником. Приеду, если вдруг что...» Никогда

у мальчика не переводились конфеты и пряники.

Ребенок отзывается на ласку, как лист на дуновение ветерка. Взгляни на него с улыбкой — и вот он уже тянется к тебе. Но если этой ласки много, безмерно, если ребенок почувствует, что он общий баловень, общий любимец, он становится капризным тираном, барчуком, эгоистом.

Когда Упрам начал ходить, его впятером одевали, впятером раздевали, впятером укладывали спать. И когда он пошел в школу, его портфель по очереди опять несли впятером. И он воспринимал все это уже как должное.

А когда вырос, когда подошла пора жениться, он приглядел себе Кетерин, первую красавицу деревни. Что лицом, что статью была она хороша необыкновенно. Все парни заглядывались на нее. Когда кончалось вечернее гулянье за околицей, не было просто отбою от желающих проводить ее до дому. Кетерин не придавала особого значения тому, кто ее провожает. Тот или этот — не все ли равно. Она еще не думала о замужестве.

Но Упрам не собирался отступать. Он должен жениться на Кетерин во что бы то ни стало, хоть в лепешку разбиться, а намерение свое осуществить. Пошли к ее родителям его родители, начались всякие посулы, увещевания, угрозы — закрутилась карусель, девушка и сама не поняла, как оказалась в подвенечной фате, как пришла в сельсовет, как поставила свою подпись под подписью о регистрации брака...

— Первая красавица деревни стала моей невесткой! — шумел за свадебным столом, хватив лишку, отец Упрама.

То-то вот и оно — во всем, всюду хотел Уп-рам быть первым, и готов был пойти ради этого на все.

Однажды, когда он уже был заведующим, в колхозе появился странный длинноволосый человек. Он спрыгнул с подвезшей его попутки прямо перед правлением, в предобеденную пору, когда там сошлось немного народу, и представился: «Меня зовут Савиков-Чермень. Я поэт». При этом он все время пытался говорить в рифму: «Я, друзья, приехал к вам сюда кое-что кое о ком разведать. Не скажете ли мне — где пообедать?» Все хохотали. Савикову-Черменю это нравилось. Он тоже хохотал, затем становился в позу и читал:

Солнце всходит на востоке,  
Розовеет небо.  
Поднимайся, друг-колхозник,  
На уборку хлеба.

— Прекрасные стихи! — сказал, протискиваясь к Савикову-Черменю, Абрам Петрович. — Вы не будете возражать, если я перепишу их и мы опубликуем их в нашей стенной печати?

— Нет, я не буду возражать, — ответил Савиков-Чермень. И хохотнул: — Но где же все-таки мне пожрать?

Абрам Петрович еще раньше догадался, почему «поэт» то и дело заговаривает об этом.

— Идемте ко мне, — пригласил он.

Кетерин дома не было. Абрам Петрович собственноручно разогрел обед и поставил на стол бутылку «белого».

— В народе говорят, — посмеиваясь, показал он на бутылку, — писатели тоже люди?

— Нет-нет, — замахал рукой Савиков-Чер-

мень.— Нельзя ни грамма, выпью — начнется запой. Ты лучше давай-ка мне супчику, да еще супчику, да мяса не жалей... В долгу перед тобой не останусь,— со значением произнес он.— Очерк напишу о тебе.

— Да супчику что, пожалуйста супчику, и мяса не жалко нисколько,— суетился возле «поэта» Абрам Петрович и подробно рассказывал при этом, какой беспорядок был на фермах, когда он пришел заведующим, и как все теперь переменялось...

«Поэт» наворачивал за обе щеки и только приговаривал время от времени, показывая, что слушает: «Ага. Ага...»

Через неделю в районной газете была напечатана небольшая, в несколько строчек заметка о заведующем фермами такого-то колхоза Абраме Петровиче. Абрам Петрович был сам не свой от счастья. Что из того, что Савиков-Чермень обещал очерк, а написал небольшую информацию. Его имя появилось в газете — это главное. Другие жизнь проживут — о них ни разу ничего не напечатают, а о нем — вот, пожалуйста!..

Эх, жизнь ты жизнь! Сколько же в тебе намешано всякого — и светлого, и темного, и доброго, и злого, и высокого, и низкого... Миг настоящего краток и неуловим, он между прошлым и будущим — как та условная точка на геометрической плоскости: и есть, и нет. Легко, обратившись взглядом в прошлое, определить, кто был прав, а кто ошибался, кто был честен, а кто лжив, но как это сделать в текущий, ускользающий миг настоящего?..

Прошло какое-то время, и судьба снова свела их с Иыгынатом. Иыгынат, инвалид Ве-

ликой Отечественной войны, пришел к Абраму Петровичу просить лошадь, чтобы съездить в районную больницу.

— Бумага мне на комиссию пришла, — сказал он. — Я ж там у них на учете состою. Проверять будут.

Он закончил; а Абрам Петрович все сидел и сидел молча, и лоб у него был нахмурен. Потом он встал.

— Для тебя лошади у меня нет.

— Как нет? — не понял Йыгынат.

— Вот так. Нет, и все.

— Ага... — Йыгынат понял. — Что ж, придется мне к председателю колхоза идти, просить.

Он повернулся и пошел из кабинета Абрама Петровича.

— Давай, давай, — понеслось ему вслед. — Можешь куда угодно идти, хоть к самому господу богу.

Но через час за Абрамом Петровичем приехал председательский «газик». Колхоз укрупнили, в него вошло ещё несколько окрестных деревень, земли в колхозе стало теперь чуть не тысяча гектаров, и председатель завел машину. Теперь уже и партийной организацией руководило не бюро, а целый комитет.

— Что там такое случилось, зачем меня так срочно? — спросил Абрам Петрович шофера.

— Не знаю, — сказал шофёр.

«Ну, не из-за Йыгыната же», — подумалось Абраму Петровичу.

Но в кабинете председателя, когда вошел, он увидел Йыгыната.

— Вы меня вызывали, Хрисан Никодимович? — выдавил из себя улыбку Абрам Петрович.

— Вызывал,— сказал председатель. И стукнул кулаком по столу.— Ты что делаешь с человеком? А?! Ну-ка скажи прямо! Хорош руководитель, нечего сказать. Издеваться, понимаешь ли, вздумал!..

— Что вы! — Абрам Петрович был самоизумление.— Я Игнатия Савельевича вижу-то сегодня впервые. Хотел еще домой к нему послать, узнать, в чем дело — может, заболел, думаю? Что случилось-то? Объясните мне, пожалуйста!

— Ну и ну! — потерянно протянул Иыгынат.— Сколько лет прожил, но такого... Прямо в глаза врет!

— Человек, Абрам Петрович, просто так в правление не придет,— с резкостью бросил председатель. И вызвал шофера: — Вот что! Мне сегодня никуда особенно не нужно... поедешь в районную больницу с Игнатием Савельевичем. Дождешься его — и обратно привезешь.

Когда Иыгынат с шофером вышли, председатель колхоза молча прошелся по кабинету и, остановившись затем напротив Абрама Петровича, сказал:

— Вот, полюбуйся! Из-за твоего самодурства я сегодня без машины буду. Что, в самом деле, нельзя, что ли, работать по-человечески? Ведь умеешь же ты работать, смотри, какие хорошие показатели дают фермы!

— Если умею работать, так надо уметь и ценить,— обиженным тоном сказал Абрам Петрович.— И не надо каждого жалобщика слушать. Как я тогда дисциплину буду поддерживать? Вы сегодня ужасную вещь сделали. Теперь каждый будет по самому пустячному

пустяку приходить к вам: того Абрам Петрович на гулянку не отпустил, того что-то переделать заставил... Так вы народ против меня восстановите. А на ферме сегодня, знаете, сколько дел? Вот так,— провел он ребром ладони по горлу,— Йыгынат там нужен. И завтра бы съездил, ничего бы не случилось.

— Ладно, ладно,— перебил его председатель.— Хочу только предупредить: сделай все же выводы для себя. Запомни наш сегодняшний разговор.

На этом все для Абрама Петровича и закончилось. Председатель не любил каких-либо крутых мер, он полагал, что его председательского «запомни» вполне достаточно.

Для Абрама же Петровича это «запомни» было не большее комариного укуса. Он шел от председателя, вспоминал весь состоявшийся разговор и довольно думал о том, что им дорожат, что он нужен колхозу, а значит — и все простят.

...Петух над головой прокричал во второй раз. Теперь, будто он только и ждал этого крика, Абрам Петрович не вздрогнул. Он лежал, подложив руки под голову, сна в нем по-прежнему совершенно не было, но он стал успокаиваться понемногу и мог уже даже вспоминать не те, отдаленные годами события, а нынешние, недавние — последние... Сколько веревочке, говорят, не виться, все конец будет. Да-а... вот и поскользнулся.

Те коровы не значились ни в каких документах. Их нужно было включить кому-нибудь в группу, и он, поразмыслив, выбрал Унись, молодую, недавно начавшую работать на ферме доярку. «Так не оставлю,— по-

обещал он ей,— отплачу». Унись согласилась.

Осенью после уборки урожая подвели итоги. Унись была премирована теленком.

Очень она обрадовалась премии. Когда объявили на собрании о награждении, на лицо помимо всякой воли сама по себе вышла улыбка, да так и держалась до конца собрания.

Но собрание кончилось, Унись вернулась домой, и тут, дома, до нее наконец дошел смысл тех давних, сказанных ей Абрамом Петровичем слов: «Так не оставлю. Отплачу». Вот ей, получается, за что выдали теленка. Конечно, она работала старательно, неплохо, наверно, работала, всех телят выходила, ни одного случая падежа не было. Да что говорить, в полную силу работала. Но разве не старалась, предположим, Крахьян? Ей вот дали Почетную грамоту. Но если бы ее наградили поросенком, что, разве помешал бы он ей?

Для Унись начались дни мучений. И неизвестно, как бы в конце концов она поступила, если бы не встретила её школьная подруга Алдади. Алдади работала на свиноферме, ухаживала за отнятыми от маток поросятами. Поговорили о том, о сем, и вдруг Алдади спросила, как обухом по голове ударила:

— К тебе Упрам своего теленка растить еще не привел?

— Т-ты... это...— заикаясь, сказала Унись,— не болтай-ка ты!

— Чего болтать, не болтаю,— торопливо заговорила Алдади.— Второй уж год поросят Упрама, бригадира и завхоза рашу. Давно с тобой посоветоваться хотела, хорошо, что ты мне сама встретила. Боюсь я ужасно. Узна-



ют — поди докажи, что не твои поросята. Сказать Упрану — не буду больше, не хочу, так выгонит еще с фермы, ему это просто... Как думаешь, может, в народный контроль пойти, самой все рассказать — пусть у меня этих лишних поросят обнаружат?

Тут Унись стало по-настоящему страшно. Если Алдади сообщит о лишних поросятах в народный контроль, проверкой в одной ее группе не ограничатся, пойдут и на другие фермы, дойдут и до нее...

— Не советчица я тебе, — сказала она Алдади, отводя глаза. — Не знаю я...

Целый день она ходила, как во сне. И решила наконец поговорить с Крахьян. Крахьян и старше, и сама член народного контроля, она подскажет верное.

Крахьян, задав корм свиньям, сидела на скамеечке возле фермы, вязала спицами шерстяной носок.

— Здравствуйте, тетя Крахьян, — сказала Унись, подходя.

— Спасибо, милая. И тебе здоровья. Давно мы с тобой не виделись.

— Да, давно. Вы здесь, я у себя... — Унись присела рядом с ней. — Для кого вяжете?

— Для внука, милая. Пусть его ножкам зимой тепло будет.

Слово к слову ложится — расспросили друг друга о житье-бытье, перебрали последние деревенские новости. Когда долго не видишься, найдется о чем поговорить.

Но вот уж и паузы стали появляться, время от времени замолкать стали — выдыхается разговор. Надо решаться.

— Крахьян, — произнесла Унись и запну-

лась: не хватало сил, не могла заставить себя продолжить.

— Ну-ну, что? Говори,—приободрила ее Крахьян.— Рот раскрыла — слово должно вылететь. Даже вон внук мой говорит: сказал «А», говори и «Б».

— Молодец твой внук. За словом в карман не лезет...

— Ой, теперешние дети... Только ходить научатся, а уж за книжку берутся. Вот младший-то, для которого носки вяжу, в ясли ведь еще ходит, а сколько уж стихов знает?! — В голосе Крахьян прозвучала гордость.— Как они только в головенке его и помещаются.

— Жизнь, тетя Крахьян, в хорошую сторону повернулась. Лучше стала, что говорить... Но я с тобой не об этом хотела...

Унись решила. И рассказала она и про себя, про лишних пять коров в своей группе, и про поросят Алдади...

— Какая мерзость! — стиснутым голосом сказала Крахьян, когда Унись кончила свой рассказ.— Вон он, значит, как славу себе зарабатывает — обманом. Колхоз обманывает, нас всех обманывает... Эх, подлая душа, бесстыжая рожа!.. — Она разволновалась, замолчала, чтобы успокоиться, и, успокоившись немного, заговорила снова: — Сегодня же пойду к председателю народного контроля. Ты только назад не отступай. Не бойся. Сорняк надо вовремя выдергивать, не то он ничему доброму не даст вырасти. Верни теленка колхозу — и делу конец. И душа очистится, и перед людьми будешь чиста.

— Да, тетя Крахьян,— боясь взглянуть ей в глаза, проговорила Унись.— Я и сама ду-

мала так сделать. А то что же получается — за помощь в его грязных делах премию получила... — Она встала и осмелилась наконец посмотреть Крахьян в глаза. — Успокоила ты мне душу, тетя Крахьян. Спасибо тебе. — И попросила жалобно: — Только уж скорее вы с проверкой приходите... чтобы уж не маяться...

На следующий день на фермы пришла группа народного контроля в четыре человека, пятым был секретарь парткома.

— Вся скотина на местах, на выпасы уже не выгоняете? — спросил секретарь Абрама Петровича.

— Все, уже не выгоняем, куда уже — осень! — улыбаясь, развел руками Абрам Петрович.

— Ну, вот и отлично, — сказал секретарь. Сначала пересчитали поросят. Три поросенка оказались лишними.

— Что это значит? — спросила Крахьян Алдади с решительностью отвела с лица прядь волос.

— Один завхоза, другой бригадира, а третий вон — Абрама Петровича. И в прошлом году было три лишних. Зима настала — увезли и закололи...

Абрам Петрович смотрел на Алдади белыми от бешенства глазами.

— Нечего так смотреть на меня, — спокойно сказала Алдади. — Хватит, напомыкались нами. Не те времена настали. Мы такие же члены колхоза, как и ты.

Уверенность в своей правоте придает человеку смелости. Тому, кто чувствует, что правда за ним, когда он решится отстаивать ее, эту правду, не страшно ничего.

И Абрам Петрович понял это, отвел глаза от Алдади, забормотал униженно, обращаясь к секретарю парткома:

— Шайтан попутал, Сергей Ильич... виноват. За поросенка своего... сумму, которую на кормление истрачена, верну. За остальных не ответчик, а за своего поросенка все сполна...

Секретарь слушал его бормотание молча и, когда Абрам Петрович кончил, сказал:

— Я здесь не один. Со мной еще четверо. И о мере наказания я тоже не один решать буду. Ну, а теперь,— повернулся он к членам народного контроля,— что, на молочнотоварную пойдем?

Абрам Петрович сделался бледнее бумажного листа. Мгновение он стоял не в силах сдвинуться с места. Потом кровь разом прихлынула к лицу, и оно, так же, как мгновение назад белым, сделалось багровым. Абрам Петрович потерял всякое самообладание.

— Убью! — захрипел он, кидаясь к Крахьян.— Это ты, ведьма старая!..

Но руки его перехватил секретарь. Молодой, сила есть, он сжал Абрама Петровича в своих объятиях, как в тисках.

— Сдурели?!

Абрам Петрович попытался вырваться — у него ничего не получилось, и он враз обмяк, губы у него стали цвета поспевшей сливы и дрожали.

Секретарь выпустил его из своих объятий, и Абрам Петрович покорно поплелся за комиссией.

В группе Унись, как и ожидалось, было обнаружено пять лишних дойных коров.

— Покатился ты под гору, Абрам Петро-

вич, покотился,— с суровостью сказал секретарь, когда проверка была закончена.— Давно покотился, вижу теперь, наверно, уж и не сможешь оглобли вспять повернуть...

Абрам Петрович не ответил. Да и что он мог ответить? Нечего ему было отвечать.

— Завтра теленка, которым меня премировали, обратно приведу,— сквозь слезы выговорила Унись.— Не могу, извелась вся. Не в радость он мне. Приведу — душе легче станет, хоть часть вины сниму с себя... Проклинаю себя за свою слабость, что согласилась. Спасибо тебе, тетя Крахьян,— приложила она руку к груди,— что помогла мне добрым советом, делом помогла... за душу твою спасибо!

— И тебе, Унись, спасибо! — обняла ее Крахьян.— За решительность твою, за то, что поборолась все-таки.— И вернула Унись ее слова: — За душу твою!

— Акт надо составлять, товарищи,— подвел черту секретарь.— Пойдемте, Абрам Петрович, в ваш кабинет,— пригласил он.

Раздался тягучий скрип открывающейся двери. Звякнула дужка ведра. Значит, жена вышла доить корову.

На сеновале был полумрак, но в щели между досками пробивались уже тугие лучи солнца. Так, выходит, всю ночь он и пролежал без сна...

Не ожидал Абрам Петрович того поворота, какой принял разговор. Ох, не ожидал. Уж на обычную-то мягкость председателя весьма надеялся. А он...

— Верил я Абраму Петровичу,— сказал Хрисан Никодимович.— Очень верил. Хоть и

оступился он раз, а думал я — переменялся человек, и верил. Так что вина за поступок Абрама Петровича и на нас, колхозных руководителей, лежит. Слишком доверились. Правда, обычно люди, чем больше доверие, тем большую и ответственность чувствуют, стараются его оправдать, но все равно вины это с нас не снимает... За мусор ты посчитал наше доверие, Абрам Петрович, — сгрести да выбросить. Но ложь, она долго жить не может, век у нее короткий. Потому что правда сильнее ее, правда, как магнит, притягивает людей. И это естественно, я не удивляюсь, что люди, работавшие с тобой, в конце концов разоблачили тебя. Это и должно было случиться. Секретарь парторганизации правильно тут сказал — покатишься ты под гору. И я думаю, так ты низко уже скатился, что не можем мы больше тебе доверять. Не можем... Ох, и натворил ты дел, Абрам Петрович!.. Позор на весь район. Да что на район. И в Чебоксарах, глядишь, узнают, пальцем тыкать станут. Эх!.. — Председатель горестно махнул рукой и некоторое время стоял молча. Потом он откашлялся и сказал, как отрубил: — Предложение у меня такое: поросят, что на колхозном фураже выкормлены, у владельцев изъять и передать в колхоз. Тем более что и изымать нечего — они и без того на колхозной ферме находятся. Лишних коров заприходовать. А с Абрама Петровича удержать сумму в размере месячного заработка. И, естественно, освободить от должности. Все.

Председатель сел и обхватил голову руками. Вся его поза выражала собой недоумение и боль.

Абрам Петрович вспомнил все это — и едва

не застонал от запоздалого стыда. Какое унижение перенес, какое унижение!.. Девчонке, от горшка два вершка, невестке Крахьян, предложили его должность. Той, что только в прошлом году Вурнарский совхоз-техникум закончила...

Нет, лежать так и перебирать, перебирать в памяти все эти последние пять лет дальше было невозможно. Рехнуться так впору! Абрам Петрович сдернул с себя одеяло, поднялся и, торопясь, быстро спустился на землю.

Кетерин уже подоила корову и, положив на ведро марлю, переливала в него из подойника молоко.

— Хочешь парного? — ровным голосом, будто ничего и не произошло, спросила она Абрама Петровича.

И будто что-то повернулось у него в душе от этого ее приветливого, ласкового голоса. И на глаза, помимо воли, навернулись слезы. Он опустил голову, чтобы она не заметила слезы, и пробормотал:

— Выпить, что ли, в самом деле немного...

Кетерин принесла из сеней ковш. Абрам Петрович налил в него процеженное молоко и стал пить. Он выпил весь ковш на одном дыхании, ни разу не оторвавшись, вытер губы тыльной стороной ладони и замер, глядя куда-то вдаль.

Кетерин подняла ведро и пошла в дом, чтобы не мешать мужу. Она взялась уже за дверную ручку, когда Абрам Петрович позвал ее:

— Кетерин! Погоди-ка...

— Что? — повернулась она. Голос ее был так же ровен и ласково-участлив.

— Кетерин...— Он взошел на крыльцо, встал возле нее и повторил: — Кетерин...

— Да, слушаю тебя, говори,— отозвалась она.

Абрам Петрович опустил голову и махнул рукой.

— Под гору я, сказали мне, скатился... Тяжело. Ох, как тяжело... Помоги мне, Кетерин, прошу тебя... помоги подняться...

— Давай в избу зайдем сначала,— Кетерин улыбнулась.— А то стоим на крыльце, словно мы чужие с тобой.

И снова такая ласковая, такая спокойная сила прозвучала в ее голосе, что Абраму Петровичу стало невыносимо горько за свою ночную грубость, за все свое ночное поведение...

— Прости меня, Кетерин,— сказал он.

Скрипели, открывались двери соседских домов. Звякали дужки подойников, взвизгивали петли ворот. Значит, уже выгоняли коров после дойки на улицу, чтобы собирались они в стадо, шли на пастбище, есть сладкую после росы траву, пить студеную речную воду.

Солнце уже поднялось над горизонтом на высоту растущего у околицы дуба и будет подниматься все выше и выше, тянуться за песней жаворонка в синем поднебесье. Новый день, вея свежим ветром с полей, вступал в деревню.



## Анна Петровна

Анна Петровна учительствует в деревне скоро уже три года, приехав по распределению после окончания пединститута.

Три года — это немало. Но время идет быстро, и ей еще очень хорошо помнится день ее приезда. Как приветливо, как доброжелательно встретил ее директор школы Исидор Матвеевич! И тут же повел в приготовленную для нее однокомнатную квартиру.

— После городской жизни эти аппартаменты, может быть, не очень вам и понравятся, но ничего не поделаешь — другого у нас ничего нет, — разведя руками, пошутил он. Впрочем, шуточный тон не очень ему удавался — директор чувствовал себя скованно с молодой учительницей: девочка, девочка, десятиклассница прямо...

— Ой, ну что вы! — не поняла шуточки директора Анна Петровна. — Сразу получить однокомнатную квартиру... Да это просто мечта. — В голосе ее звучала молодая, счастливая восторженность.

— Ну, если понравилась, остается только радоваться, — улыбнулся директор. И, не зная, что сказать еще, переступил с ноги на ногу. — Устраивайтесь, ладно. Отдыхайте с дороги. А у меня еще куча дел, побегу, — нашелся он наконец.

И, недовольный собой и вместе с тем довольный — что сумел-таки достойно скрыть свою растерянность, директор вышел из квартиры. О чем можно говорить с человеком, которого видишь в первый раз? Бог его знает. Ну, был бы мужчина, предложил ему сигарету, а сигарета — это уже вроде как общее какое-то дело, и завязался бы, глядишь, какой-нибудь разговор. Но этой что конфет, что ли, предлагать? Так конфеты директор школы в карманах не носит...

Разобрав немного вещи, Анна Петровна решила пойти прогуляться — познакомиться с деревней. Сама она тоже из деревенских. Но она из вирьялов\*. А среди низовых чувашей впервые. Надо послушать, как говорят люди на улицах. Чтобы не обронить потом на уроке слово по-вирьялски. А то пристанет к тебе это слово, прилепят его тебе, как ярлык — не отдерешь. В институте вон рассказывали про одного. Тоже, из вирьялов был. Забылся, сказал на уроке слово по-своему, и все — готово прозвище. А хуже нет, чем прозвище получить. Дурацким каким-нибудь прозвищем любой авторитет подорвать можно...

Деревня была расположена в необыкновенно живописном месте. С востока к самым огородам подступал лес. В лесу, как сказали Анне Петровне, много орешника. Выбегая из леса, с южной стороны деревню огибала железная дорога. С севера и запада далеко, к самому горизонту, полого уходили поля. А прямо через деревню, рассекая ее надвое, текла

---

\* Вирьялы — так называют верховых чувашей.

речка. Сирекле\* по названию. А почему ее так называли, Анна Петровна догадалась сама: берега речки густо заросли ольхой. Ребятишки сидели по укромным местам с удочками в руках.

Пятьсот дворов в деревне. Большая.

А люди в деревне открытые и радушные. В иных местах, бывает, спросишь о чем-нибудь — даже и не посмотрят в твою сторону. Здесь не так. Спросит о чем-нибудь Анна Петровна хозяйку во дворе, ей ответят да еще и в избу приглашают, предлагают свежее пенное пиво.

У детворы свой интерес.

— Учителка новая, учителка новая, — шепчутся за спиной.

— Из вирьялов вроде бы.

— А не все равно. Лишь бы не злая была.

Здорово, видно, этому мальцу досадила своей строгостью какой-то учитель. А может быть, просто слабоват в учении.

— Красивая... Не задержится у нас надолго, — слышит Анна Петровна за спиной новый шепот.

Ага, были, значит, случаи — слишком быстро уезжали молодые учителя...

Но вот и минули свободные предучебные дни. Наступил сентябрь, наступили рабочие будни.

Первый самостоятельный урок! Сколько бы лет ни прошло с того дня, он помнится каждому учителю. Его не забыть, этот первый урок. Вот ты вошла в класс — и мгновенно оказалась под прицелом тридцати пар на-

---

\* Сирекле — значит Ольховка.

стороженных, чутких, любопытных глаз. Рука невольно тянется к прическе — все ли в порядке в ней? И все ли нормально у тебя с одеждой? А как ты смотришь? Не выдает ли твое лицо твоей растерянности и страха? Ребята ведь все видят.

Вот ты представляешься им. Вот открываешь классный журнал и начинаешь знакомиться с ним, зачитывая фамилию за фамилией. Одни отзываются со своих мест четко и ясно, другие с какой-то ленцой, неохотой. В том, как они отвечают, уже проявляются их характеры, ты сразу же знакомишься, хоть и приблизительно, с их внутренней сутью, но и они непрочь «познакомиться» с учителем, испытать его.

Анна Петровна только закончила перекличку, как в классе раздался громкий крик:

— Коза!

Все разом, будто никогда в жизни не видели козы, повскакивали со своих мест и бросились к окну. На месте остался только Петр Сидоров, довольно ухмыляющийся, — он, видимо, и крикнул: «Коза!»

Никакой козы за окном не было, и весь класс дружно захохотал.

Что делать в таких случаях? Прикрикнуть? Это значит — показать свое бессилие, еще больше раздражить их. Дать волю скопившимся в глазах слезам? Тогда больше в этом классе лучше не появляйся.

Анна Петровна помнила еще из своего детства:

В классе появился новый учитель. Первый же его урок начался с крика, с угроз, со стучания линейкой по столу. Так же начался

и второй урок. Потом он начал опрос, вызвал к доске Якова Петрова, а Петров, не дойдя до доски, вдруг рухнул на пол, как спиленное дерево, и, дергаясь всем телом, застонал. Стон его постепенно делался все тише, конвульсии тоже замирали, и наконец Петров совершенно затих, не было слышно даже его дыхания. Учитель, с совершенно белым лицом, приложил ухо к его груди послушать сердцебиение — и выскочил из класса. Мгновение спустя он появился с аптечкой «скорой помощи» в руках. И все увидели, как руки эти, несущие аптечку, дрожат. Учитель раскрыл аптечку, достал оттуда какой-то пузырек, и в это время Петров без всякой посторонней помощи поднялся и, как ни в чем не бывало, прошел на свое место.

Тут уж учитель растерялся вконец. Урок был сорван. И в дальнейшем ничто не могло ему помочь — ни повышенный голос, ни двойки, разбрасываемые им налево и направо. Авторитет его был подорван. Зато Петров в глазах ребят был героем...

Услышав из коридора шум в классе, Исидор Матвеевич открыл дверь — может быть, молодой учительнице нужна помощь? Анна Петровна, заложив руки за спину, спокойно стояла у стола. Что ж, раз она спокойна, значит, все в порядке. Исидор Матвеевич тихо прикрыл дверь.

А ребята неожиданно успокоились и, старательно обходя взглядами Анну Петровну, сели за парты. Неловко почувствовал себя и Сидоров, он сконфуженно опустил голову и принялся старательно водить пальцем по обложке учебника. Анна Петровна

заметила это, но ничего ему не сказала.

— Будем считать, что урок начался,— спокойно сказала она и закрыла журнал.— В прошлом году по русскому языку и литературе у вас был другой учитель. Теперь буду я. Сразу же попрошу вас: что будет непонятно, неясно что будет, не таитесь — обращайтесь ко мне, спрашивайте, не стесняйтесь...

Доводилось вам слышать, как журчит в ночной тишине по деревянному желобу родниковая вода? Вот так прозвучал ее голос.

До самого звонка в классе не раздалось больше ни единого постороннего звука. И после звонка, пока Анна Петровна не закрыла журнал, не сказала «до свидания», никто не встал из-за парты.

У каждого по-разному проходит он, первый урок. У Анны Петровны прошел вот так...

В нынешнем году Исидор Матвеевич предложил Анне Петровне стать классным руководителем шестого класса. Анна Петровна попробовала было возражать:

— Нет, я не справлюсь. Вы же сами сказали, трудный класс...

— А легкие разве бывают? — не то для нее, не то для себя самого, раздумчиво произнес Исидор Матвеевич.

В учительской новость была обсуждена самым всесторонним образом.

— Ну и классик вам достался, тот еще! — засмеялась Гертруда Власьевна.— Я лично выхожу из него доведенная до белого каления.

Гертруда Власьевна считает себя опытейшим педагогом. «Попробуйте-ка поработать с мое»,— говорит она то и дело. Но

работает она в школе всего только седьмой год.

— Ох, любите вы стращать, Гертруда Власьевна,— поднялась со своего стула Анастасия Васильевна. Уж кто мог бы говорить «поработайте с мое», так это она. Двадцать пять лет отдано ею школе, и все двадцать пять при этом учительствует она в одних стенах.— Человек в советах нуждается, а не в запугивании. Запугивание никому еще не помогало.

— Ну, пошли мораль читать! С мое вот...— Видимо, Гертруда Власьевна хотела сказать обычную свою присказку, но вовремя остановилась — не ей было говорить это Анастасии Васильевне.— Да ну вас!.. — единственно что нашлась она сказать и вышла из учительской в коридор.

— А вы и в самом деле не бойтесь, Анна Петровна,— подошла к ней Анастасия Васильевна.— Такого дела, которое бы человек не мог сделать, на свете нет. Если Исидор Матвеевич предложил вам взять шестой класс — он верит, что вы справитесь. Иначе бы не предлагал. Я тоже не сомневаюсь, что справитесь.

— Спасибо, Анастасия Васильевна,— с благодарностью взглянула ей в глаза Анна Петровна.

— Да за что спасибо,— улыбнулась Анастасия Васильевна.— Не за что. Шестой класс, в общем-то, неплохой класс, там двое сорванцов его мутят. Взять их в руки — и дело, считай, сделано. Только, конечно, силой это не получится. С умом надо, так, чтобы все ребята в классе этого захотели.

— Да, это понятно,— вздохнула Анна Петровна.— Но понимать — это еще не значит сделать.

— Ничего. Есть понимание, будет и дело.— Анастасия Васильевна вновь улыбнулась, положила ей на плечо руку, и тепло этой руки словно бы влило в Анну Петровну силу.

Прежде Анна Петровна, отработав свои часы в этом, теперь шестом классе, сразу же покидала его. Теперь она стала задерживаться в нем, разговаривать с ребятами, расспрашивать учителей, и вскоре уже она знала о жизни класса очень многое.

Действительно, класс был неплохой, но его постоянно мutilи двое: Веня Стариков и Евраф Маликов. Неужели же невозможно как-то обуздать их, заинтересовать чем-то, увлечь, чтобы они на дело тратили свою энергию, а не на пустое баловство?..

«Проявить» себя они не замедлили. Ушли демонстративно с урока химии, забрались на копну сена в школьном саду и просидели там до окончания всех уроков. Анна Петровна вызвала родителей. Поговорила. Результатов — никаких. Учились Стариков с Маликовым хорошо, легко учились. Может быть, в этом все дело? Скучно на уроках, нечем заняться. Хотя куда чаще бывает наоборот...

Подверглась наконец их «нападению» и сама Анна Петровна. Шел урок литературы. На дом она задавала выучить наизусть стихотворение и сейчас поднимала учеников с мест, вела опрос.

Неожиданно поднял руку Стариков. Обычно ни он, ни Маликов сами не вызывались отвечать, и его поднятая рука обрадовала Анну Петровну.

— Пожалуйста, Стариков,— с тайной радостью разрешила она.



— Я не насчет стихотворения, я о другом, — с развязностью начал Стариков. — Вот говорят, что вы на гитаре играете здорово. Правду говорят?

Анна Петровна разгадала его ход. Стариков не готов к ответу, боится, что сейчас придется читать стихотворение наизусть и ему, и хочет — пока непонятно, каким образом, — увильнуть.

— Да, играю, — сказала она спокойно. — И что?

— Научите и нас играть на гитаре, — вскочил со своего места Маликов.

— Сядь, Санчо Панса. Тебя не спрашивают, — нажав на плечо, посадил Стариков Маликова.

Так, определила Анна Петровна, главенствует Стариков. А Маликов, значит, при нем верный оруженосец Санчо Панса.

— Вы что же, читали роман Сервантеса «Дон Кихот»? — будто удивившись, спросила она. — Молодцы.

— Какой еще такой «тонкий хот»? — подал с места реплику Маликов.

Класс покотился с хохоту.

Анна Петровна сделала вид, будто ничего не произошло.

— Кто такой Вантес-пантес, нам неизвестно, — с решительностью в голосе сказал Стариков. — Мы такую картину смотрели, «Дон Кихот». Вы ответьте лучше, на гитаре играть научите?

— Что ж, то, что картину смотрели — уже хорошо, — с прежним спокойствием ответила Анна Петровна. — А насчет гитары, коль есть желание — научу.

— Пойдем, Якрав, — поднял Стариков Ма-

ликова за воротник.— Пошли учиться играть.

Ага, вон он как собирался увильнуть: вызвать ее на резкость, оскорбиться — и уйти, а когда это не получилось, решил уйти под любым предлогом.

— Сядьте, Стариков, — приказала Анна Петровна. — Учиться играть на гитаре будем после уроков. А сейчас потрудитесь посидеть спокойно и послушайте, как другие будут читать стихотворение.

Все у нее внутри дрожало, но она не видела иного выхода, чтобы не допустить их победы, кроме как дать им понять, что спрашивать их не будут.

— С нами, Якрав, разговаривают как с людьми, — посмотрел Стариков на Маликова. — Давай тогда и в самом деле сядем.

Они сели, и до окончания урока больше их не было слышно.

После урока Анна Петровна подозвала их к себе.

Шли они к учительскому столу с явной неохотой. «Ну, не врезала на уроке, врежет сейчас», — было написано на их лицах.

— Что же вы, друзья, — спросила их с улыбкой Анна Петровна, — если и в самом деле хотите научиться играть на гитаре, нельзя было разве подойти ко мне на перемене?

— Да, — сказал Маликов, — подойдешь, как же. Все уроки подряд ругают, захочешь тут на перемене подходить...

— Ладно, ладно, такие уж они все обиженные, — Анна Петровна, все так же улыбаясь, положила им руки на плечи — как тогда, в учительской, положила свою руку на ее плечо Анастасия Васильевна. — Если в самом деле хоти-

те научиться играть, приходите вечером ко мне.

— Спасибо... А-ага... — растерянно ответили Стариков с Маликовым.

Они пришли — и стали старательными учениками. Как в изучении правил игры на гитаре, так и в школе. Слух у них у обоих оказался прекрасный, медведь на ухо в детстве им не наступал. «Самоучитель» был освоен за самое короткое время. Анна Петровна полагала, что Стариков с Маликовым «приручены».

Но...

Кто из нас не был молодым? Все мы были молодыми — и значит, влюбленными, одного взгляда любимого человека хватало нам, случалось, чтобы весь день проходить с бессмысленно-счастливой улыбкой на лице. И Анна Петровна тоже была молодой...

По окончании уборочной в клубе состоялось торжественное собрание. А после собрания начался вечер танцев и песен.

От Анны Петровны не отходил знатный механизатор Аким Акимыч. Беспреданно приглашал на танцы, в играх становился только рядом. А когда стали расходиться, пошел ее провожать.

И с тех пор стали они встречаться каждый вечер.

Аким Акимыча в округе знал и стар, и млад. «Это тот, который, сколько ни обгоняй, все впереди идет?» — шутя говорили про него.

Показатели у Аким Акимыча и в самом деле были такие, что многим не под силу было тягаться с ним. Но секретов своих он не таил. Наоборот, с охотой делился ими, только бери. В общем, хотя и сравнялось ему недавно всего четверть века, уважение, которое он заслужил, могло сравниться с уважением, каким поль-

зуется человек в возрасте. Многие, подчеркивая свое уважительное отношение к нему, и называли его, как зовут обычно людей уже в возрасте: Акимыч.

Портрет Аким Акимыча круглый год висел на доске Почета у Дома культуры. «Мать, наверно, для того тебя и родила, чтобы ты на виду у всей деревни красовался?» — любяще подшучивали над ним приятели. В ответ Аким Акимыч только улыбался.

Весть о том, что молодая учительница и Аким Акимыч «гуляют», облетела деревню в мгновение ока. В деревне такие вести всегда распространяются быстро. Один увидит — соседу скажет, сосед родственнику сообщит, родственник своему соседу... И пошло-поехало. В деревне так испокон веку велось. И хоть и обновляется жизнь прямо на глазах, да старые привычки-обычаи остаются.

— Наш Аким Акимыч-то всю ночь нынче с Анной Петровной под ручку ходил, — сообщила утром у колодца тетка Ехрусь.

— Молодые, пусть ходят, — с улыбкой отозвалась тетка Кетерин. — Сама, что ли, молодой не была?

— Была-то была, да только так-то, чтоб до утра, мы не ходили.

— Наверное, не ходили! Скажи лучше, забыла или завидуешь.

— О чем это вы здесь толкуете? — подошли к колодцу еще бабы.

И начались суды-пересуды...

Дошли эти слухи и до Старикова с Маликовым. И очень все это дуэту гитаристов, как называли теперь их в школе, не понравилось.

— А не хитрая ли она, наша Анна Петровна? — сказал однажды Стариков.

— Что ты имеешь в виду? — не понял Маликов.

— А то. Помнишь, в позапрошлом году одна тоже приехала вот так, забрала зоотехника — и умотали в город.

Маликов даже рот разинул.

— А я и не подумал об этом.

— То-то, — с чувством превосходства сказал Веня. — Надо нам этому помешать.

— Как это? — спросил Маликов. — Как мы помешать сможем?

— Сможем! — решительно заявил Стариков. — Должны!

Долго ломали они голову, как осуществить свой замысел. И однажды их осенило...

Час был поздний, Анна Петровна с Аким Акимычем, как обычно, гуляли по притихшим, погружившимся в сон улицам. Полная луна, как аккуратно выпеченная гороховая лепешка, висела в небе, заливая землю своим зеленоватым светом, скрипел снег под ногами.

Неожиданно перед ними, вынырнув из темноты, выросли Стариков с Маликовым.

— Что, ребята? — доброжелательно спросил Аким Акимыч.

— Не, мы не к вам, — замотали они головами.

— Так, так, слушаю, мальчики, — обеспокоенно сказала Анна Петровна. «Что-то случилось, — промелькнула у нее в голове тревожная мысль. — Иначе бы они не оказались на улице в такое позднее время».

— Мы вот что... — запинаясь, начал Стариков, — мы сказать вам хотим, Анна Петров-

на... в общем, если вы так и дальше будете... то мы тогда в школу ходить не будем...

Анна Петровна растерялась. Она ожидала услышать от них чего угодно, но только не это.

— Почему? — спросила она наконец.

Стариков с Маликовым не ответили. Они не были готовы к пространным разговорам. Смелость оставила их, и они стояли теперь, опустив головы.

Тишину нарушил Аким Акимыч.

— Вы, ребята, придет срок, тоже станете взрослыми... — сказал он. Сказал — и запнулся. Он не знал, как им можно объяснить. Взрослыми они будут через несколько лет, а сейчас все-таки дети... Да ведь и действительно, Анна Петровна для них — учительница, а не кто-нибудь. — Эх вы, парни!.. — только и махнул он в конце концов рукой.

Ребята молча потоптались, потоптались еще перед ними, затем, не сговариваясь, повернулись разом и бросились в переулок...

На другой день в школу они не пришли. Правда, прогуляв один день, они вновь появились за партами, но это было как предупреждение. Анна Петровна забеспокоилась. Но что предпринять? Разве учитель не имеет права на любовь? Ведь она такой же человек, как и все. А недаром же поэты пишут о том, что «молодость дается только раз»... Вот ситуация!

И поделиться-то этим с кем-нибудь из товарищей-учителей не поделишься — смешно это все, со стороны-то глядя. Аким, правда, все понимает, успокаивает, пытается вместе с нею найти какой-либо выход. Правда, выход он, откуда ни зайдет, видит только один. Всякий разговор сводит он к одному.

— Пожениться нам надо, вот что,— говорит он.— Тогда вся эта проблема разрешится сама собой.

Анна Петровна, когда Аким в очередной раз произносит эту фразу, не может сдержаться, начинает хохотать. Почему-то ей вспоминается при этом тот самый древний деятель, что всякую свою речь заканчивал одними и теми же словами: «Карфаген должен быть разрушен».

Акима ее смех обижает.

— Я думаю, что предпринять, чтобы все на свои места поставить, а ты смеешься. Прямо как маленький ребенок.— И помолчав, после паузы: — Я дело предлагаю. Самый правильный выход.

Может быть, и нашли бы они какой-нибудь выход, придумали бы что-нибудь, но тут с Анной Петровной случилась беда...

В шестом классе должен был по расписанию состояться урок литературы. Но вместо Анны Петровны в классную комнату вошла преподаватель физики и математики. Так шестиклассники узнали, что нынче ночью их классную руководительницу на «скорой помощи» увезли в районную больницу.

Шум в классе поднялся невообразимый.

— Анне Петровне сделали операцию,— сообщила преподаватель физики и математики.— Только что в больницу звонил Исидор Матвеевич, чувствует она себя нормально. Но пока к ней никого не пускают.

Шум в классе стих, наступила тишина и стояла до самого звонка.

А на перемене класс так и бурлил.

Маликов вытащил Старикова в коридор и, отведя в тихий угол, спросил с виноватостью в голосе:

— А мы тут причиной как-нибудь не могли быть, как думаешь?

— Вполне возможно... — опуская глаза, пробормотал Стариков. Он замолчал, Маликов тоже молчал, и так простояли они довольно долго. Наконец Стариков нарушил это молчание: — Аким Акимыч сказал тогда, помнишь: «Сами тоже станете взрослыми...» Помнишь? Нехорошо мы все это сделали, нельзя так было... Как какие-нибудь дураки-малолетки поступили...

Теперь, вблизи от большого горя, они почувствовали себя совершенно взрослыми. Так всегда бывает: растущий ещё, несформировавшийся человек, соприкоснувшись с реальными, немными жизненными бедами и проникнувшись их страшной, пугающей сутью, хочет чувствовать себя взрослым, большим, способным помочь, принять на свои плечи бремя чужого горя... Так осенью молодые петушки соревнуются в пении со старыми петухами. Но все равно, как бы они ни старались, их неустойчивый, срывающийся голосишко отличить от голоса «старика» за много километров. На этих молодых петушков Стариков с Маликовым и походили сейчас. Но ведь молодой петушок не век будет молодым, придет срок — он заматерееет, главное — чтобы запел...

— Интересно, а Аким Акимыч знает, что Анна Петровна в больнице? — спросил Маликов.



— Думаю, знает. Должен знать. Чтобы ему-то в нашей деревне да не сообщили! — с тайной гордостью за Акима Акимыча сказал Стариков.

— Пожалуй... А то я думал — пойти, может, рассказать, — с озабоченностью проговорил Маликов.

Оставшиеся уроки друзья еле высидели.

— Ну и что, что никого не пускают, — шептал Стариков. — А все равно завтра возьмем и пойдем.

— Я маму попрошу, пусть приготовит ей что-нибудь, — шептал Маликов.

— У нас в доме всегда свежий творог, — шептал Стариков.

— А у нас простокваша мировая, — шептал Маликов.

— Вы что там, Стариков с Маликовым? — спросила учительница, заметив, что друзья не занимаются вместе со всем классом.

— Нет, мы ничего. Все в порядке... — заоправдывались друзья. И замолчали. Если бы они были в обычном своем состоянии, они бы как следует поперерекались с учительницей, но сейчас им было не до этого.

Так они и промолчали до конца урока, не сказав больше ни слова, ни шепотом, ни вслух, чем немало удивили хорошо знавшую их учительницу, но она не подала виду...

В девять утра на следующий день Стариков с Маликовым уже дежурили возле здания районной больницы. Сейчас еще рановато, размышляли они, пусть там у них рабочий день разойдется, тогда и надо будет попробовать пройти.

На дороге затарахтел мотоцикл, и к больнице подъехал Аким Акимыч. Он заглушил мотор, слез и вошел внутрь.

— Видал? — удивился Стариков.

— Он нас что же, не заметил? — тоже удивился Маликов.

— Да ведь горе у него... А может, сердит на нас, заметил — а здороваться не хочет.

— Точно, — сказал Маликов. — Надо нам у него прощения просить.

— У него потом, — рассудил Стариков. — Сначала у Анны Петровны надо.

— Точно, — снова согласился Маликов.

Через некоторое время дверь больницы раскрылась, и вышел Аким Акимыч. Опустив голову, он прошагал к мотоциклу, завел его, оседлал и, дав газ, умчался.

— Ну чего, попробуем? — предложил Маликов.

Они поднялись на крыльцо, открыли дверь и вошли. Тщательно вытерли ноги о расстеленную на пороге мокрую тряпку. Огляделись. Направо от входа был гардероб. Но ни возле него, ни внутри него не было ни души. Налево была какая-то дверь. Они открыли ее и очутились в длинном полутемном коридоре. В коридоре тоже не было ни души, и стояла тишина. Друзья растерялись.

Наконец откуда-то появилась женщина в белом халате, увидела их и тут же подошла.

— Вы что это, хлопцы, делаете тут? — спросила она вполголоса. — Куда в такую рань заявились?

То, что женщина в белом халате говорила вполголоса, не закричала на них, не погнала, не

позволив сказать ни слова, ободрило друзей.

— Тетенька, мы к Анне Петровне... нам надо... Мы ее ученики... она наша учительница... — наперебой, громко заговорили Стариков с Маликовым.

— Ну-ка, ну-ка, потише... голосистые какие. Сообщали же в школу, не надо ее пока беспокоить. Нельзя. До вас тут только что один прибежал. «На полминутки пустите, хоть одним глазком посмотрю...» А сам чуть не десять минут просидел, говорит и говорит... А ей же тяжело, она-то ведь тоже не молчит. — Женщина перевела дыхание. — Ну, сами посудите. Как я вас пушу. Ученики, видишь ли...

Она повернулась уходить, но Стариков успел схватить ее за рукав.

— Тетенька, — заговорил он быстрым шепотом. — Нам только одно слово сказать... правда же, Нам так нужно... очень нам нужно, чтобы она простила нас...

— Что? — удивилась женщина. — Такая мелкота, и сумели обидеть взрослого человека? Ну, гляди-и... Над землей ведь еще еле-еле виднеется, а туда же...

Слова ее были для друзей — как острый нож.

— Тетенька... вот мы и пришли... — Стариков готов был заплакать. — Глупые были, сами не знали, что делаем...

— Теперь поумнели, значит? — насмешливо спросила женщина.

— Поумнели немного, — не зная, как еще поддержать друга, ляпнул Маликов.

— Поумнели, значит... — протянула женщина, оглядывая их. — Ну, ладно. Надевайте халаты. Но дольше трех минут не задер-

живаться. Увидит врач — все, потеряла я работу.

«Смотри-ка ты, за что работу потерять можно... А мы с Якравом, сколько чего выделяем, нас из школы не выгоняют...» — промелькнуло в голове у Старикова неким откровением.

Анна Петровна лежала с закрытыми глазами. Обычно розовые щеки ее были сейчас, как серая бумага, а если еще точнее, как зола. Увидев это ее серое лицо, Стариков едва не вскрикнул от сострадания, но вовремя сдержался, вспомнив строгое предупреждение женщины в халате, и даже для надежности прикрыл рот ладонью.

— Анна Петровна, — сказала женщина ласковым голосом, наклоняясь над постелью. — К вам снова пришли...

Анна Петровна открыла глаза. В глазах ее, когда она увидела Старикова с Маликовым, появилось удивление, потом она слабо улыбнулась, попробовала приподнять голову, но не смогла.

Улыбка ее придала друзьям смелости.

— Анна Петровна... Простите нас... Дураками мы были. Мы больше никогда... — наперебой, шепотом заговорили они. — Никогда больше так не будем... правда... Вы только выздоравливайте поскорее. Мы дров вам наколем... Воду вам таскать будем. Нужно будет — и пол помоем... Правда. Аким Акимыч сегодня приезжал, мы видели... Мы вам с Аким Акимычем желаем счастья... вы только выздоравливайте...

Женщина в халате подала друзьям знак прощаться. Стариков с Маликовым заог-

лядывались, не зная, куда деть свои узелки.

— Творог вот... свежий,— сказал Стариков.

— У меня вот тут эта... простокваша...— качнул узелком Маликов.

— Положите в тумбочку,— шепнула женщина.

Стараясь, чтобы вышло как можно тише, друзья открыли тумбочку, положили туда свои гостинцы и снова закрыли.

— Спасибо, ребята,— кивнув на дверь, сказала теперь женщина.

Стариков с Маликовым снова посмотрели на Анну Петровну. Она снова, как тогда, когда увидела их, улыбнулась и слабо шевельнула рукой. Должно быть, этот жест и эта улыбка означали: спасибо, что пришли, а я на вас больше не сержусь, прощаю вас. Так, наверное?

— Скорее выздоравливайте, Анна Петровна! Мы вас ждем в школе!..— пятась к выходу, проговорили друзья.

Когда дверь за ними закрылась, Анна Петровна улыбнулась еще раз, теперь уже самой себе. В глазах у нее стояли слезы.

Она не могла бы объяснить себе, отчего она плачет. Она слишком много пережила за эти последние полтора суток. Одно она знала: она счастлива. Она была жива, и уже одно это было счастьем. Она была нужна Акиму — и это тоже было счастьем. Она нужна этим двум сорванцам — и разве это не было тоже счастьем?..

## Ночной разговор

Меня вызвали к главному редактору.

Редактор сидел в своем кресле за столом с красным карандашом в руках и читал свежую полосу.

Я сел на стул возле стола и приготовился слушать.

— В командировку давно не ездил? — спросил редактор, откладывая в сторону карандаш. И, не дожидаясь ответа, сказал: — Надо ехать. Нужен очерк о трактористах. Сейчас в колхозах работают день и ночь, а мы сидим тут, воды в рот набравши... Лети-ка давай дня на два, на три в какой-нибудь из районов. Возьмешь материал, напишешь — сразу в номер пойдет.

— Что ж, лечу, — согласился я.

— Вот и хорошо, — сказал редактор. — Сейчас приказ отпечатают, подпишу — и двигай в бухгалтерию. Желаю удачи, — поднимаясь, подал он мне руку.

Я вышел от редактора в прекрасном настроении. Я и в самом деле давно уже никуда не ездил и сидеть в редакции мне наскучило. А дорога, новые впечатления всегда действуют на меня будоражуще.

Чудесно в солнечные весенние дни за городом. Травяным зеленым пушком одевается земля, подернуты нежным зеленым туманцем

проклюнувшихся листьев деревьев. Оживает, пробуждается природа от зимней спячки, и кажется, вместе с нею молодеет твоя душа и рвется куда-то вдаль.

В райцентре, как всегда в таких случаях, я направился в райком партии, в отдел сельского хозяйства. В райкоме всегда могут подсказать, куда лучше поехать, с кем встретиться и даже предложить кого-нибудь в герои твоего будущего очерка.

— А поезжайте-ка вы в колхоз «Сюталла»\*, — после недолгого раздумья предложил мне инструктор. — И сам колхоз хороший, и люди там интересные. А если вас трактористы интересуют, так вот есть там тракторист — Ятманов Варсонофий Авксентьевич. Он же и бригадир, кстати. То, что он тракторист хороший — это полдела. Какой он человек... В общем, сами смотрите, — закончил разговор инструктор.

Я поблагодарил его, распрощался и вышел из райкома.

Теперь мне нужно было или поймать попутку, или, если он пойдёт сейчас, суметь остановить рейсовый автобус.

Мне повезло. Едва я вышел на шоссе, как вдали показался автобус, я поднял руку, и он, хотя остановки здесь вовсе не было, остановился.

Народу в автобусе было немного, человек пятнадцать. Старик с кудлатой седой бородой рассказывал, обращаясь ко всем пассажирам, что-то смешное. Когда я вошел, он на мгновение прервался, осмотрел меня, взгляд его выра-

---

\* «С ю т а л л а» — значит «К свету».

зил удовлетворение, вроде как он сказал про себя: «При этом можно»,— и рассказ продолжился:

— Ну вот, нет и нет у меня света. Неделю уж. Когда электричество-то провели, я керосиновую лампу за ненадобностью забросил куда-то, искал — не нашел. Свечку зажечь, чтобы вечером-то в темени не толочься, так и свечей у меня нет — не верую в бога. Ну вот, поди ты. Утром, как на работу, опять прихожу к нему — спит под столом, и никак я его разбудить не могу. Ворочается, мычит, но не встает. Крепко вчера «зеленый змий» его, видать, укусил... Ну, что делать? Подождика, думаю. Беру у него со стола пустую бутылку, наливаю воды, затыкаю тряпочкой — и снова к нему. «Максим, — говорю, — Максим, вставай, я тебе опохмелиться налью, видишь, что у меня...» И верчу у него перед носом бутылку. Смотрю, глаза у мужика разлепляются, и весь он оживать начинает. Потом вдруг как вскочит, будто его в то самое место кто иголкой кольнул. «Фу, говорит, точно, нужно опохмелиться. Врезал я вчера — небо качалось. — И берет стакан. — Наливай», — говорит. Ну, а я бутылку-то в сторону: не-ет, шалишь! «Нет, говорю, не налью, пока ты мне свет в доме не восстановишь». И пошел. Как миленький. С минуту ковырялся, не больше. Зажегся свет. «Вот, говорит, готово. Наливай». И заглядывает мне в глаза, как пес побитый. Тут я ему и выдаю. «Нет, говорю, Максим, не налью. Я за тобой неделю ходил, как все равно христарадничал, теперь ты походи». Ох, и разозлился! Затрясся весь. «Кретин старый!» Хлопнул дверью, чуть с петель не соскочила,



и пошел. А я в окно: «Я тебе, винной бочке, я тебе покажу «кретина старого»! Ты у меня будешь знать, как за пятикопеечную работу поллитру каждый раз требовать!» И поджал хвост, голубчик, бегом, бегом к воротам — чтобы поскорее со двора моего, чтобы я еще чего не накричал: слышат же все!..

Рассказ старика был закончен, все, как один, в автобусе хохотали.

— А не смешно все это, — отсмеявшись, сказала средних лет женщина с хозяйственной сумкой на коленях. — Ничего ведь без водки, в самом деле, не заставишь сделать. Нам бы на таких-то навалиться всем народом, задать бы им хорошенько, а мы не... Так оно вроде проще. «Поставлю я ему бутылку — и без всяких нервов...» Так вот и молчим и сами потакаем. Им государство за их работу зарплату платит, а они еще и с нас дерут. Издеваются над нами, а мы же и потакаем!..

Крепко, видимо, досадили женщине всякие эти рвачи-халтурщики: начала она спокойно, а закончила чуть не на крике.

— Да, конечно, конечно, — согласился с нею старик. — Один их не перевоспитаешь, всем бы миром навалиться...

Я слушал этот случайный дорожный разговор и думал о том, что все это правильно: много развелось таких вот, о каком рассказывал старик, рвачей. И думал о том, что обуздывать их мастера мы в основном на словах, а как дойдет до дела... Вот так поговорим в автобусах, отведем душу, а как придется снова столкнуться с таким — спасуем...

— Ваша остановка! — крикнул мне водитель, останавливая автобус. Открыл дверь и,

когда я стал сходить, объяснил: — Пойдете вон по той дороге, а потом там будет развилка, сворачивайте направо. Минут тридцать — и дойдете.

Дверь закрылась за моей спиной, автобус взревел мотором и укатил. Я пошел в указанном направлении. На душе у меня было необъяснимо светло и возвышенно. Я не понимал причин своего состояния, шел, размахивая руками, оглянулся вслед уехавшему автобусу — и понял: причиной тому был водитель. Мало того, что он помнил, где мне нужно сходить, и сам, без моего напоминания остановился, он еще и объяснил дорогу, о чем я не просил. Вроде бы и пустяк, а вот смотри ж ты...

В голубом поднебесье заливались жаворонки. Голоса их были так звонки, так чисты, что казалось, они и сами наслаждаются своим пением. А может, и в самом деле наслаждаются? Так долго висеть на своих маленьких крылышках в такой высоте, так нескончаемо долго звенеть песней...

Я миновал развилку, свернул направо (еще раз спасибо водителю!), и через некоторое время показались крыши домов. Если бы листья на деревьях распустились уже полностью, я бы не увидел крыш; сейчас они просвечивали сквозь зеленое марево, а так бы их скрыла густая зелень — улицы были засажены высокими ветлами, тополями, в палисадниках у домов росли березы и липы.

И опять мне повезло. В пустынном по дневной поре правлении я застал председателя.

— Бригада Ятманова, говорите? — раздумчиво произнес председатель. — Что ж, вполне заслуживает, чтобы о них написали. Ну, и

сам Ятманов, естественно. Выйдите сейчас из деревни — и прямо, по дороге, она вас и выведет к Ятманову. Они сейчас в поле.

Я поднялся, и он протянул мне руку:

— Будут вопросы — заходите, отвечу.

— Будут, конечно, а как же.

— Ну, вот и заходите.

И вновь пошла стелиться мне под ноги дорога. Такова журналистская работа, недаром же говорят, что журналиста, как волка, ноги кормят. Главное, впрочем, — не терять попусту время, зря растраченное время ведь не вернешь. Оно не аргамак. Это убежавшего аргамака ты сможешь догнать и поймать...

...Переносный дощатый дом, укрепленный на четырех мощных высоких плахах, отчего казалось — сейчас он снимется с места и зашагает на них, как на ногах, стоял возле самой дороги. Видимо, здесь же, прямо в поле, чтобы не тратить время на дорогу до деревни и обратно, они и ночевали.

Дверь дома была открыта.

— Хозяева есть? — спросил я, всходя на порог.

— Есть, — ответил откуда-то из сумерек дальнего угла густой бас. Кто-то зашевелился там, раздавалось мягкое шлепанье босых ног. Видимо, владелец баса лежал до моего прихода на соломенном матрасе.

— Слушаю вас. — Передо мной стоял широкоплечий коренастый мужчина лет сорока с половиной.

— Мне бы хотелось видеть Варсонофия Авксеньевича Ятманова, — торопливо сказал я. Есть всегда в этих первых минутах журналистского знакомства с людьми, о сущест-

вовании которых еще недавно и не подозревал (а они — о твоём), какая-то неловкость, неестественность, и хочется поэтому скорее перескочить через них.

— А по какому делу? — спросил мужчина. В голосе его послышалось как бы недовольство: «Ходят тут всякие, мешают...»

Я стал объяснять, что я журналист, приехал по заданию редакции, мы бы хотели... и мне порекомендовали...

— Ну, я и есть Ятманов, — после некоторого молчания ответил мужчина. — После смены поспать лег... — зачем-то объяснил он, хотя это было понятно и без того. Снова помолчал и сказал, отводя глаза: — Я вообще, знаете... не умею рассказывать... не специалист. Давайте, может быть, так: селитесь с нами, смотрите... Что увидите, то и ваше. Так ведь правильнее, наверное, будет?... — В голосе его сквозила какая-то напряженность, и я понял: он устал от корреспондентов, которых все направляют и направляют к нему из райкома, и сейчас боялся, что я вытащу блокнот с ручкой и начну задавать вопросы.

— Что ж, меня устраивает то, что вы предлагаете, — сказал я. Меня и в самом деле это устраивало.

— Вот и прекрасно, — с нескрываемым даже облегчением произнес Ятманов. — Места у нас здесь хватит. А еду прямо сюда привозят.

Ну вот и все, кончились эти самые трудные первые минуты...

Ятмановская бригада работала круглые сутки, в три смены. Трактор не простаивал, практически, ни минуты. Только лишь раз в день, в обеденную пору, умолкал рев дизеля

и над полем тогда, в установившейся тишине становился слышен звон жаворонка.

А я понемногу, по крупице, по зернышку, узнавал кое-что и о самом Ятманове. Оказывается, он фронтовик. И хотя призван был в последний год войны, успел «заработать» два ордена и несколько медалей.

— Носите их? — поинтересовался я.

— Ношу, — ответил он. — На праздники надеваю.

— А то теперь многие и на праздники стесняются.

— А чего стесняться? — Ятманов посмотрел на меня с удивлением. — Я ведь их не за пьяную драку получил. Я, как говорится, грудью своей защищал родину. Почему же в праздник они в сундуке должны быть, а не на груди?

Здорово он мне ответил. И ведь красиво к тому же!

— За труд есть награды?

— Есть, — сказал он коротко. — Орденом Ленина на пятидесятилетие Советской власти наградили. — И смутился. — Многовато, конечно... Я и не ожидал... Теперь надо так работать... ответственно, в общем...

Он покраснел, как краснеет девушка под пристальным взглядом нравящегося ей парня.

Кончился первый день моего пребывания в бригаде — день приезда, начался и прошел второй. И вот что меня, чем дальше, тем больше стало удивлять: что-то я не видел третьего тракториста. У Ятманова был только один напарник, и они работали, сменяя друг друга, едва не валясь с ног от усталости. Видимо, третий сменщик заболел. Надо бы завтра узнать, что с ним, расспросить, что за человек,

иначе картина бригадной жизни будет неполной, подумал я, засыпая.

Проснулся я среди ночи, точнее, на переломном часе от ночи к утру, в сиреневых сумерках — от приглушенного разговора двух людей. Разговаривали Ятманов и, как я догадался потом, тот самый третий сменщик. Варсонофий Авксентьевич был мне виден — он сидел на ступеньках у двери, курил, и когда затягивался, на лицо ему падал красноватый отблеск от разгорающейся сигареты.

Подслушивать чужой разговор нехорошо. Я кашлянул, заворочался, снова кашлянул, вздохнул... На меня не обратили внимания. Что же, вскочить с постели, сказать: «Простите, но я вас слышу, отойдите, пожалуйста?» Так я и стал свидетелем этого разговора.

— Не стыдно тебе, Павел, что ли? — сухим, резким голосом говорил Ятманов. — Мы вдвоем тут горбатимся, жилы из себя вытягиваем, а ты в деревне сидишь, водку лакаешь!

— Трагедия у меня, Варсонофий Авксентьевич, — голос третьего сменщика едва не срывался на плач. — Трагедия!..

— Ну-у! Трагедия! Напридумывал все сам себе, вот и вся твоя трагедия.

— Трагедия! — вскрикнул голос с пьяной визгливостью. — Жена уходит — это что?! К первой своей любви... заявила мне: уйду! Из армии он, видишь ли, вернулся...

— Знаю, — спокойно сказал Ятманов. — Вернулся Петр. Ты его отсутствием воспользовался, а теперь вот он вернулся.

— У нас же ребенок!.. — снова вскрикнул невидимый мне Павел. — Я ее люблю... я же ее до смерти, вот как я люблю ее!..

Ятманов как отрезал.

— Не видно, чтобы ты любил ее.

— Жизнью клянусь,— протянул Павел.

— Не верю.— Ятманов вынул догоревшую папиросу изо рта и бросил окурок в освещающую темь.— Любил бы — не выпивал.

— Так трагедия же...— снова начал Павел.— Семья же разрушается.

— Она у тебя оттого и разрушается, что пьешь. Уходит, говоришь, от тебя Верук? Будешь так дальше пить — и уйдет. Согласится Петр — и все, тогда уж...

— Согласен он... ох, согласен!.. — теперь Павел, и в самом деле, кажется, заплакал. Ятманов помолчал. Потом он сказал:

— Вот что, Павел. Взгляни-ка ты на себя со стороны. Я тебе сейчас помогу в этом. Почестному ты отбил Верук у Петра? Думаю, был бы он рядом, ничего бы у тебя не получилось. Но его не было, а ты обхаживал. Наобещал ей всякого... Так? Поверила она тебе, увидела в тебе что-то, что даже и в Петре не видела. Ты же всей своей жизнью с нею веру ее на ветер пустил. И сейчас вот — напился снова и сидишь, пузыри пускаешь. Кому приятно на твое пьяное лицо смотреть? Никому. И ей тоже. Или ты думаешь, приятно?

Павел не отозвался.

— То-то и оно. Раз девушка пошла за тебя, предпочла другому, хотя и в его отсутствие значит, все-таки увидела в тебе что-то! Есть в тебе это что-то! А ты его сам в себе и вытаптываешь. Погляди-ка, как Петр выглядит? Одет аккуратно, всегда выбрит... А ты? Нет, дорогой, пьяными своими слезами ты меня не разжалобишь. Вспомни, когда ты в последний

раз в кино с женой был? То-то и оно! А мне вот скоро пятьдесят уже стукнет, но я со своей супругой в клуб хожу. Под руку. Тебя там я что-то ни разу не видел.

— Не срами, не срами меня, Варсонофий Авксентьевич!.. — страдающим голосом проговорил Павел.

— Я тебя не срамлю, ты сам себя срамишь. Я еще и покрепче могу сказать. Вот тебе мое слово: будешь продолжать пить — попрошу на колхозном собрании, чтобы лишили тебя права на тракторе работать. Попрошу, ты меня знаешь.

— Дядя Варсонофий!.. — Мне показалось, что Павел даже встал на колени.

— Что дядя Варсонофий! Теперь дядя Варсонофий! А когда водкой глаза заливать — дяди нет? Помнишь, как на тракторе тебя работать учил? Ты тогда только с курсов вернулся, нормы не вытягивал, мы ее за тебя делали! Помнишь? Теперь снова за тебя ее делать? «Трагедия», ишь... Хватит слюнтяйничать. Все. Подниматься пора, дальше падать некуда. Успешная работа, дорогой, с семьей, с родного дома начинается. Запомни это. Если у тебя дома все враздрызг — и на работе успехов не жди. Не будет их. Поссорился с женой, пришел на работу — о чем у тебя мысли, о деле? Да не о деле, а о ссоре этой. Начал пахать — а все не так, оглянешься потом — непропаханных-то мест сколько наоставлял!.. — Ятманов замолчал и молчал долго, Павел тоже не произносил ни слова. — Иди prospись, — сказал наконец Ятманов, уже другим, обычным своим голосом. — В таком состоянии трактор я тебе доверить не могу. Сам пойду. — И с преж-



ней яростной силой выдохнул: — Но смотри! Еще раз подобное — и прости-прощай, не сядешь больше на трактор!

— Сейчас ты мне, дядя Варсонофий, так врезал, что почище, чем на собрании, — глубоко вздохнув, тихо проговорил Павел.

— О тебе же, дураке, забочусь... Иди, говорю, ложись! Ложись иди!.. — прикрикнул он вдруг на Павла.

— Дядя Варсонофий, дай мне пощечину...

— Опять унижаешь себя, — в голосе Ятманова послышалась горечь. — Нет, дорогой, не буду я руки пачкать, бить тебя.

— Совсем, выходит, никудышный я человек, пощечины даже не заслуживаю? — жалко и униженно пробормотал Павел.

— Именно так пока. — Ятманов поднялся со ступеньки, сошел вниз, и в предутренней тишине, примешавшись к дальнему стуку тракторного дизеля, раздался сочный звук его шагов по земле. — А как дальше будет, увидим.

Павел, покачиваясь, взошел по ступенькам — на недолгий миг я увидел его темную фигуру в светлеющем прямоугольнике дверей, — прошел в дальний от меня угол и лег там на соломенный матрас. Спустя некоторое время до меня донеслись странные звуки, я прислушался и понял, что это, стараясь сдержать рвущиеся из груди рыдания, плакал Павел.

Утром я уехал. Нынешний ночной разговор раскрыл мне внутреннюю человеческую суть Ятманова до конца, я мог бы прожить здесь, в этом дощатом домике на четырех ногах-плахах еще месяц — и ничего бы уже не прибавилось. К председателю я не зашел — у меня не было к нему вопросов.

Ссора свекрови  
с невесткой

— Ай, хорошая тебе досталась невестка, Угась,— певуче, как вода прожурчала, проговорила Марись.

— Хорошая, да, не могу сказать про нее плохого,— согласно закивала Угась.— Вначале-то немного поволновалась, конечно... больно уж легкомысленной показалась. Все со смехом да песенку напевает...

— Э, нашла тоже из-за чего волноваться. Нынешняя молодежь не так, как мы, живет. И работать умеет, и веселиться.

— Это так, так,— снова согласно закивала Угась.

Марись вздохнула.

— Мы-то что... В девках ходишь, так попляшешь немного, а замуж вышла — и потащила воз. И пряли, и ткали, хлеб серпом убирали, цепами молотили. Крутишься, крутишься целый день по хозяйству, да мужик еще домой пьяным вернется, заработаешь тумачков ни за что...

— Ох уж, не говори! — перебила ее Угась.— Уртем у тебя мягкий, как теленок.

— Да, это теперь. Теперь-то он теленок. А в прежние годы досталось моей косе от него... — Марись улыбнулась: — Когда сын старший подрос, тогда уж бросил... — И снова вернулась к прежнему: — А невестка у тебя

молодец, ай, молодец! И на ферме она первая, и дома у вас, вишь, порядок какой, и ведь ребенка еще растит.

— Не могу сказать про нее плохого, не могу.— Угась вся так и таяла от похвалы невестке.— Золотые руки у нее, расторопная...

— Ай, да ведь не только руки золотые! — Марись так и распирало от восхищения Берук.— Как вчера в клубе пела — заслушаешься. Что твой колокольчик голос.

.Губы Угась подобрались, с лица исчезло веселое, довольное выражение.— Вот оно как... не знала я, спасибо тебе... Не знала я, что моя невестка по клубам бегаёт, время на что транжирит. Я-то думаю, она на ферме с коровами, а она вон что, в клубе с песнями! Я с ее ребенком нянчусь тут... а она... Ну, задам я: и мужу, и сыну, и ей! Что такое: семейная женщина, а пошла гулять, как какая кобыла невзнузданная...

Марись и не ожидала, что слова ее вызовут такую бурю.

— Перестань ты, Угась... вот разошлась! — попыталась она успокоить подругу.— И не одна в клубе была невестка твоя, а с мужем, с сыном твоим. И супруг твой там был, тоже ладош не жалел.— Марись уже и жалела, что проговорила Угась о вчерашнем концерте художественной самодеятельности. Знала ведь...

— Вот как, и он ладош не жалел! — Угась нисколько не успокоилась, а лишь еще больше разошлась.— И ты, значит, старая, туда ходишь? Ну-у, дела-а... Когда его открыли, там, помню, питатель показывали, так я после питателя на другой день...

— Спектакль, Угась,— быстро попра-

вила Марись.—Спектакль, а не питатель.

— Фу-ты, ну тебя с твоим языком!— рассердилась Угась. И поднялась со своего места, не прощаясь, пошла к выходу из Марисино дома. И при этом все повторяла на ходу: — Ну, невестушка, ну, невестушка!..

— Перестань, Угась,— поднялась следом и Марись.— Вот разошлась. Прямо как та жена Михедера\*.

— Побойся бога, Марись,— в недоумении, взявшись уже за ручку двери, остановилась Угась.— Как я могу быть женой какого-то Михедера? У меня свой муж есть, Харитон.

Марись опять засмеялась и, смеясь, хлопала себя руками по бедрам от изнеможения.

— Ох!.. Ох...— стонала она.— Вот и видно, что ты в клуб не ходишь. Надо ходить, тогда будешь знать, кто такая жена Михедера. А то ведь с тобой,— хитро сощурила она глаза,— и поговорить будет не о чем, так — время лишь потратишь...

— Смотри, смотри, тебе видней,— снова с обидой поджала губы Угась.— Силком даже солнце светить не заставишь, если оно не захочет...— И вздохнула: — А с невесткой я потолкую... Я с ее ребенком вожусь, через ребенка и на меня грех падает.

— Ну, совсем сдурела! — в сердцах махнула рукой Марись.— Так заговорила, будто он тебе и не внук вовсе.

— Это вы все сдурели, а не я,— сказала Угась, открывая дверь.

И ушла, так и не попрощавшись. Вот, называется, поговорили по-соседски.

---

\*Михедер — один из героев поэмы К. Иванова «Нарспи».

\* \* \*

Верук вышла замуж по любви.

По любви-то по любви, говорил ей кое-кто, да жить-то ведь не только с мужем, а и со свекром, и со свекровью, а у матери Захара тяжелый характер, старых обычаев придерживается. Верук всем этим предупреждениям не придавала значения: ну что ж, старики и есть старики, пусть они живут как знают, теперь их уж не переделаешь.

Она уже в школе была такой — никакие сложности, никакие трудности ее не пугали. Настойчивая была, упорная. Стенгазету выпускала, острую, смелую. А кто знает, что такое стенгазета в школе, тот поймет, что острой да смелой не всякий ее делать сможет.

Однажды Верук (как вспомнит сейчас, снова смешно делается) протащила в газете самого хулиганистого парня в классе — Максима. Карикатуру нарисовала, а под ней стихи. Когда газету повесили, весь класс сбился возле нее кучей, лезли друг на друга, каждый хотел поскорее увидеть, что там в очередном номере. Так куры, когда брошишь им на землю горсть овса, сбегаются отовсюду и толкутся клюя.

Сначала все было спокойно. Один одно смотрит, другой другое. Потом кто-то прочитал про Максима, засмеялся, — и тут началось! Всем захотелось узнать, что там такое смешное, стихи вслух читать начали, на карикатуру пальцем друг другу показывать, такой хохот поднялся — из других классов прибегать стали: случилось что-нибудь?

Был в этой толпе и сам Максим. Когда понял, над чем смеются, просто взбесился. Тянется к газете рукой, хочет сорвать.

Но вовремя это ребята заметили, перехватили его руку и оттащили Максима от газеты подальше.

— Что, по шее как следует заработать хочешь?

Пойти против всего класса Максим не посмел. Но пригрозил:

— Я этой стенгазетчице покажу еще, будет помнить!

И оказывается, вполне серьезно угрожал.

Через несколько дней, когда Верук шла с коромыслом к колодцу за водой, встретил ее и заступил дорогу.

— Попалась! — закричал он, сверкая глазами. — Отбивную котлету сейчас из тебя сделаю!..

Верук от неожиданности растерялась и стояла молча.

Это ее молчание Максим принял за испуг. Он сдернул у нее с плеча коромысло, и оно, вместе с ведрами, полетело в снег.

— Ах, ты так?! — пришла наконец в себя Верук. Она схватила Максима за воротник и рванула его на себя.

Максим и сам не понял, как это вдруг он очутился в сугробе, все лицо в снегу, снег набился за шиворот, в рукава пальто...

— Только попробуй еще! — прозвучало над ним, он повернул голову и увидел, что Верук поднимает ведра, цепляет их к коромыслу и спокойно, как ни в чем не бывало, идет к колодцу.

«Вот, не дай бог, если видел кто-нибудь.

Засмеют», — опасливо заглядывался Максим по сторонам, выбираясь из сугроба.

И с тех пор — все это заметили — старался он держаться подальше от Верук, а в ее присутствии боялся даже рот раскрыть.

— Ну, прямо огонь у тебя девка растет, — говорили, бывало, матери Верук женщины: — И в школе первая, и по хозяйству тебе помогает, и общественница...

И вправду, как только Верук все успевала? Придет из школы, поест, сядет за уроки. Глядишь — уроки уже сделаны, поднялась, по воду сходила, во дворе прибралась и побежала на ферму к матери. А на ферме без дела тоже не сидит. Помогает матери солому и сено для коров таскать, потом лошадь запряжет — и за водой для них. А привезет воду, нальет в поилки — бежит к матери за разрешением пойти в кружок.

— Мама, теперь мне можно идти?

— Иди, доченька, иди, — говорит мать. — Вон как мне помогла, помощница моя...

И бежит тогда Верук на репетицию в драматический кружок или на спевку в хор.

Э, скажете вы. Пока девушка, так, конечно, все нипочем, и туда и сюда поспеть можно, во всем помочь — и сыта, и одета-обута, настоящих-то забот еще никаких... Это, конечно, верно, но только к Верук не подходит. Она и сейчас такой же осталась. Везде успевает. И дом у нее в чистоте и порядке, и на ферме она справляется — вместо матери теперь дояркой работает, и ребенок ведь еще у нее. Правда, с ребенком

мать Захара помогает водиться, ничего не скажешь, ну да ведь это — пока Верук на ферме, а как вернулась — так и ребенок на ней.

Свекор нет-нет да и скажет, любуясь снохой:

— А и в самом деле, огонь девка!

— Потихе ты при ней, загордится еще, — тычет его тогда Угась в бок кулаком.

А он смеется:

— Ничего! Собиралась бы нос задрать, давно бы уж задрала.

С Захаром Верук в драмкружке и познакомилась.

И вот вечерами, после репетиций, Захар начал провожать Верук до дому.

Сначала и в самом деле до дому, а потом — вроде к дому пойдут, а окажутся в другом конце деревни. И однажды гуляли, гуляли они так — Захар вдруг остановился, заглянул Верук в глаза и говорит:

— Что мы с тобой, Верук все на сцене да на сцене целуемся... Надо бы нам и в жизни...

Верук улыбнулась.

— А если бы мы на сцене стрелялись?

— Придумала тоже — стрелялись... — сказал Захар, а сам весь так и тянулся к ней.

Они и не заметили, как губы их соединились.

То была зима, а осенью уже шумел, кричал «горько» свадебный стол во дворе Захарова дома.

Душа в душу живут они с Захаром. А что им, собственно, делить? Связала их жизнь крепким узлом, были они каждый сам по себе — стали одним целым.

Нет, нечего им делить.



Супруг Угась Харитон прилег в горнице на лавку — вздремнуть немного, дать отдохнуть старым костям. Тут нельзя не сказать, что Харитон обладал удивительнейшим свойством: достаточно ему было опустить голову на подушку, закрыть глаза — и из груди у него уже вырывался храп, он уже спал. При этом, пока не выспится, ничто не могло его разбудить. Хоть свадьба гуляй у него над ухом — не проснется. «Войлочная душа у тебя, вот что», — говорила ему на это в минуты размолвок Угась. «Не войлочная, а просто никому ничего плохого в жизни не сделал, вот и сплю спокойно», — отвечал Харитон.

И вот только, значит, он прилег вздремнуть, как с фермы на обед прибежала Верук.

Быстро переоделась, умылась и, освежившаяся, вошла в горницу.

— Мама, обед готов уже или надо готовить? — спросила она Угась.

— Подожди-ка, невестка, с обедом. Успеем пообедать еще, — ответила Угась, сверля ее тяжелым взглядом. И возвысила голос до крика: — Чего тебе не успеть пообедать — готово все. Конечно! Садись да ешь! Все для тебя готово. Я тут и с кастрюлями возись, и за ребенком присматривай... а ты по клубам шлындай!.. Позоришь наш дом, в грех впала. Побоялась бы бога, о ребенке о своем подумала бы! Грех твой, что ты в клуб ходишь, и на его голову падает, а этот грех и в век не отмолишь!..

— Где ты этого, мама, наслышалась? — спокойно спросила Верук. — Что за грех — в клуб ходить. Вроде бы уж и церковь у нас давно закрыта а ты о грехе...

— Церковь закрыта, да бог-то есть,— показала на икону в углу Угась пальцем.

— Что ж, я ничего не имею против, пусть стоит,— Верук пожала плечами.— Правда, у нас в доме ее уже сколько лет, как на дрова перевели.— И в голосе ее слышалось Угась: «И здесь бы пора это сделать».

— Ой, невестка!..— в испуге, мелко-мелко, быстро-быстро закрестилась Угась.— Пусть тебя бог простит за такие слова. Это не ты, это шайтан за тебя сказал такие слова...— Перекрестилась еще несколько раз, успокоилась немного, перевела дыхание и сказала с твердостью: — Вот тебе, заявляю ультиматум: в клуб больше ходить не будешь! А будешь — с ребенком твоим сидеть больше не стану, сиди сама, и обед тоже готовить не буду. Вот так.

В лице у Верук ничего не изменилось.

— Что ж,— сказала она прежним своим, ровным голосом.— Не хотите нянчиться, отправим сына в ясли. А обедать будем в колхозной столовой. Вы дома сидите, поэтому мы и не хлопотали об яслях, поэтому и обедать домой ходим. Но раз вы не хотите, то все можно переменить...

— Ах так! Ты, значит, вот как!.. Ты, значит, вот какая!..— закричала вся не своя от негодования Угась.— Ты, выходит, вот так!..— Ей хотелось многое выплеснуть в лицо невестке, отхлестать ее словами, выкричаться, но ничего она не могла выговорить, кроме этих двух привязавшихся к ней фраз.— Значит, вот какая! Выходит, вот так?! — кричала она.

И тут случилось невообразимое: проснулся Харитон.

— Ох ты, пенек полый! — закричал он,

сев на лавке.— Что разоралась, не стыдно тебе перед невесткой? Перед соседями не стыдно? Что о нас говорить будут? Пьешь свой опиум для народа — пей, а другим... Э,— совсем встал он на ноги.— Я думал, пусть живет по-своему, раз никому это не мешает. Но раз дело дошло до такого, порублю сейчас твою икону. Сама из-за куска доски с ума сходит, и другие теперь, видишь ли, сходить должны...

Он уже дотянулся до иконы, чтобы снять ее, и тут Угась, завизжав, как будто ее били, упала на колени.

— Ой, не губи! Ой, не губи! Не губи мою головушку, Харитон!..

И зарыдала, закрыв лицо руками, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Папа,— все такая же спокойная и сдержанная, будто ничего и не произошло, подошла к свекру Верук.— Не надо, не трогайте. Нельзя так. Чужие чувства нужно щадить.

Глаза свекра и невестки встретились. И спокойная сила, исходившая от Верук, словно погасила гнев, бушевавший в Харитоне.

— Ладно,— тихо сказал он, отводя глаза.— Подождем. Посмотрим, что дальше будет...

Угась, поняв, что икона ее спасена, перестала раскачиваться, отняла руки от лица и, всхлипывая, размазывая слезы по щекам, запричитала благодарно:

— Ой, хорошо-о!.. Ой, спаси-ибо! Ой, хорошо, что есть эта невестка у меня!..

## Содержание

---

### Повести

Отсвет того огня . . . . .	5
Дорога к невесте сына . . . . .	92

### Рассказы

Тетя Праски . . . . .	167
Родник под ветлами . . . . .	190
Под гору . . . . .	211
Анна Петровна . . . . .	245
Ночной разговор . . . . .	266
Ссора свекрови с невесткой . . . . .	278

**Георгий Андреевич Ефимов**

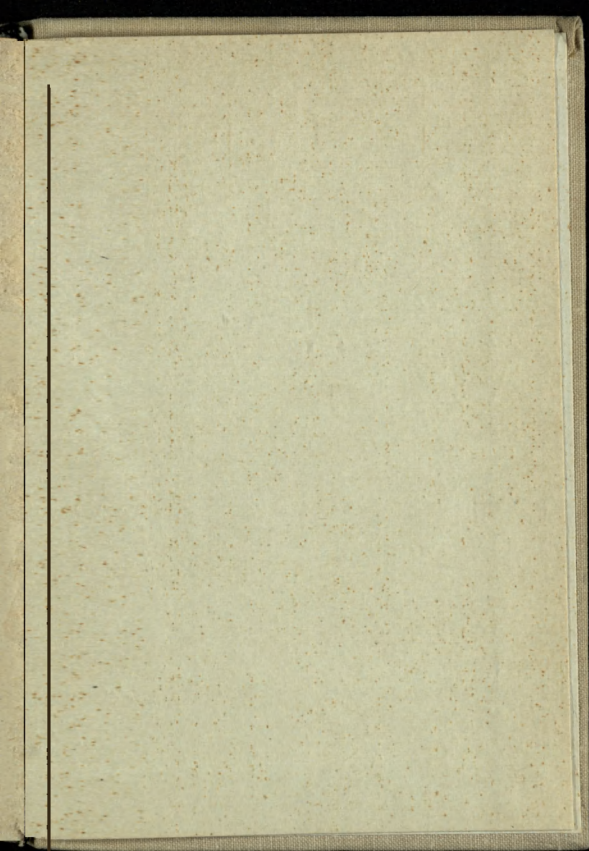
**РОДНИК ПОД ВЕТЛАМИ**  
**Повести и рассказы**

Редактор **Н. Попов**  
Художник **Р. Вейлерт**  
Художественный редактор **В. Покусаяев**  
Технический редактор **Л. Анашкина**  
Корректоры **Н. Попикова, Н. Саммур**

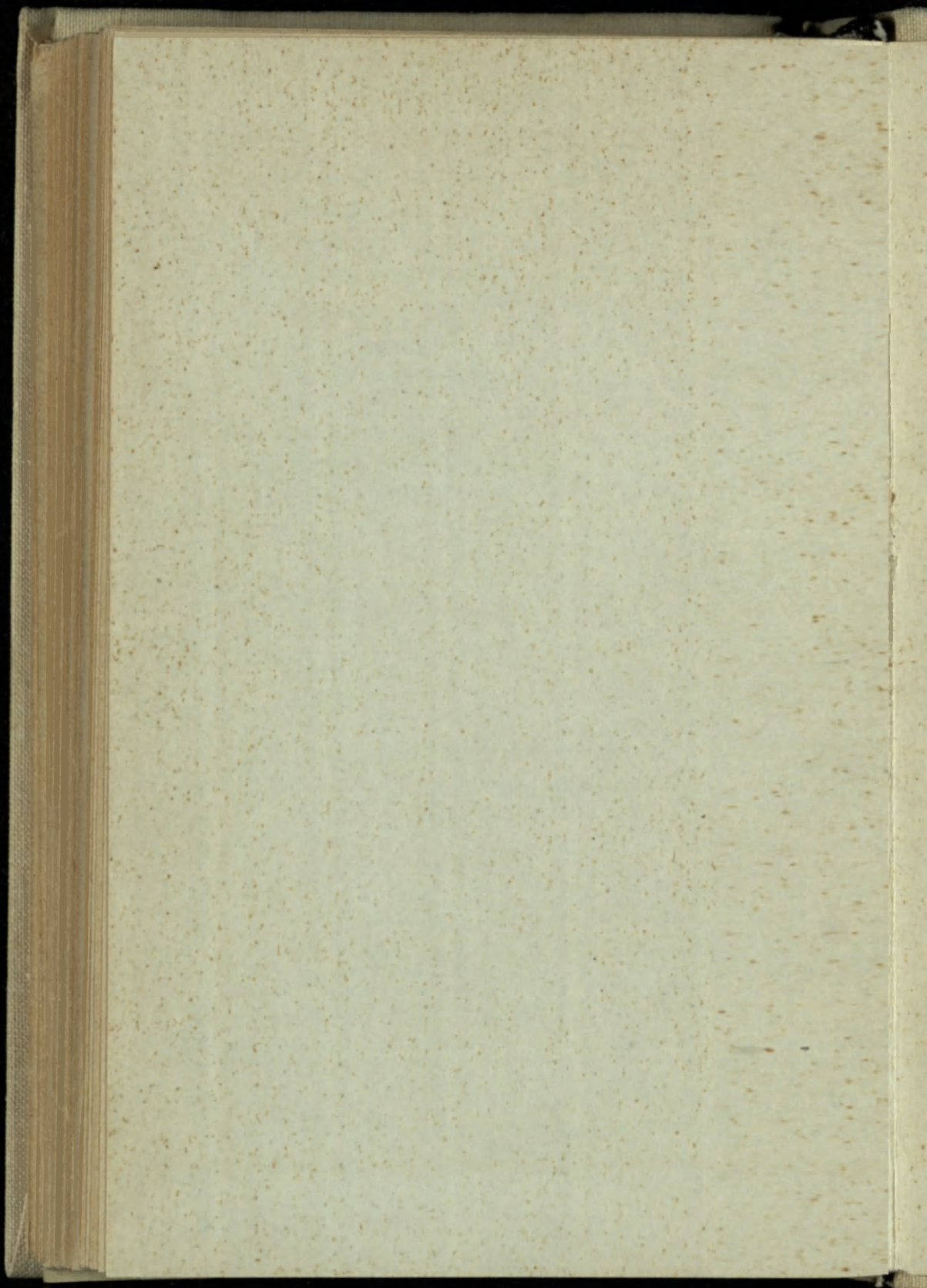
ИБ № 1244. Сдано в набор 01.02.79. Подписано к печати 11.07.80.  
А 09121. Формат 70×90/32. Бумага тип. № 2. Печать высокая (фото-  
тонабор). Гарнитура литер. Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 10,58.  
Тираж 50 000 экз. Заказ 671. Цена 80 коп.

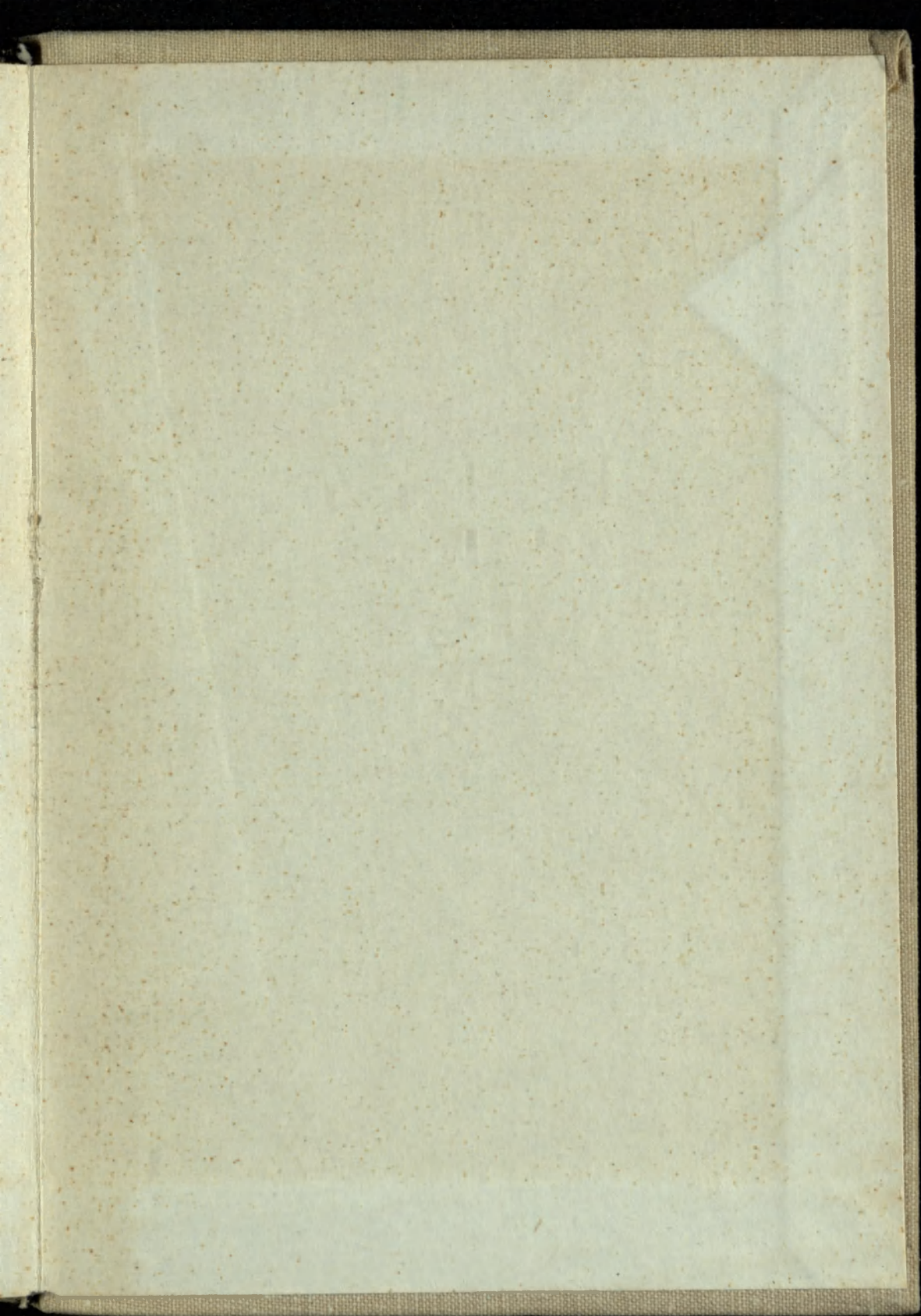
Издательство «Современник» Государственного комитета  
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
и Союза писателей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чка-  
лова, 8.



Digitized by Google





50 руб.

• СОВРЕМЕННОСТЬ •